

Николай Дернин

воскресенье на даче



РАССКАЗЫ И КАРТИНКИ С НАТУРЫ

Николай Лейкин

**Воскресенье на даче.
Рассказы и картинки с натуры**

«Центрполиграф»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1

Лейкин Н. А.

Воскресенье на даче. Рассказы и картинки с натуры /
Н. А. Лейкин — «Центрполиграф»,

ISBN 978-5-227-09738-5

В конце XIX века, как и сейчас, наши соотечественники стремились провести лето на природе, на свежем воздухе, вдали от городской суеты. В новом сборнике известного сатирика позапрошлого столетия Николая Александровича Лейкина изображены не только традиции и реалии ушедших дней, но и вещи, которые никогда не устаревают. Здесь и про трудности наема дачи, и про особенности взаимодействия с сельскими жителями, и про отношения дачников друг с другом, и про грибную и рыбную охоту, и про народные поверья, и, конечно, про русскую душу – такую же обширную и многогранную, как наша страна.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1

ISBN 978-5-227-09738-5

© Лейкин Н. А.
© Центрполиграф

Содержание

Воскресенье на даче	7
У русских	7
У немцев	10
Еще у русских	14
Еще у немцев	17
Паки у русских	19
Паки у немцев	21
Паки и паки у русских	24
Паки и паки у немцев	27
Дачные страдалцы	30
Дачные страдалцы	30
В дачном поезде	47
Дачный жених	57
На уроке	62
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Николай Лейкин

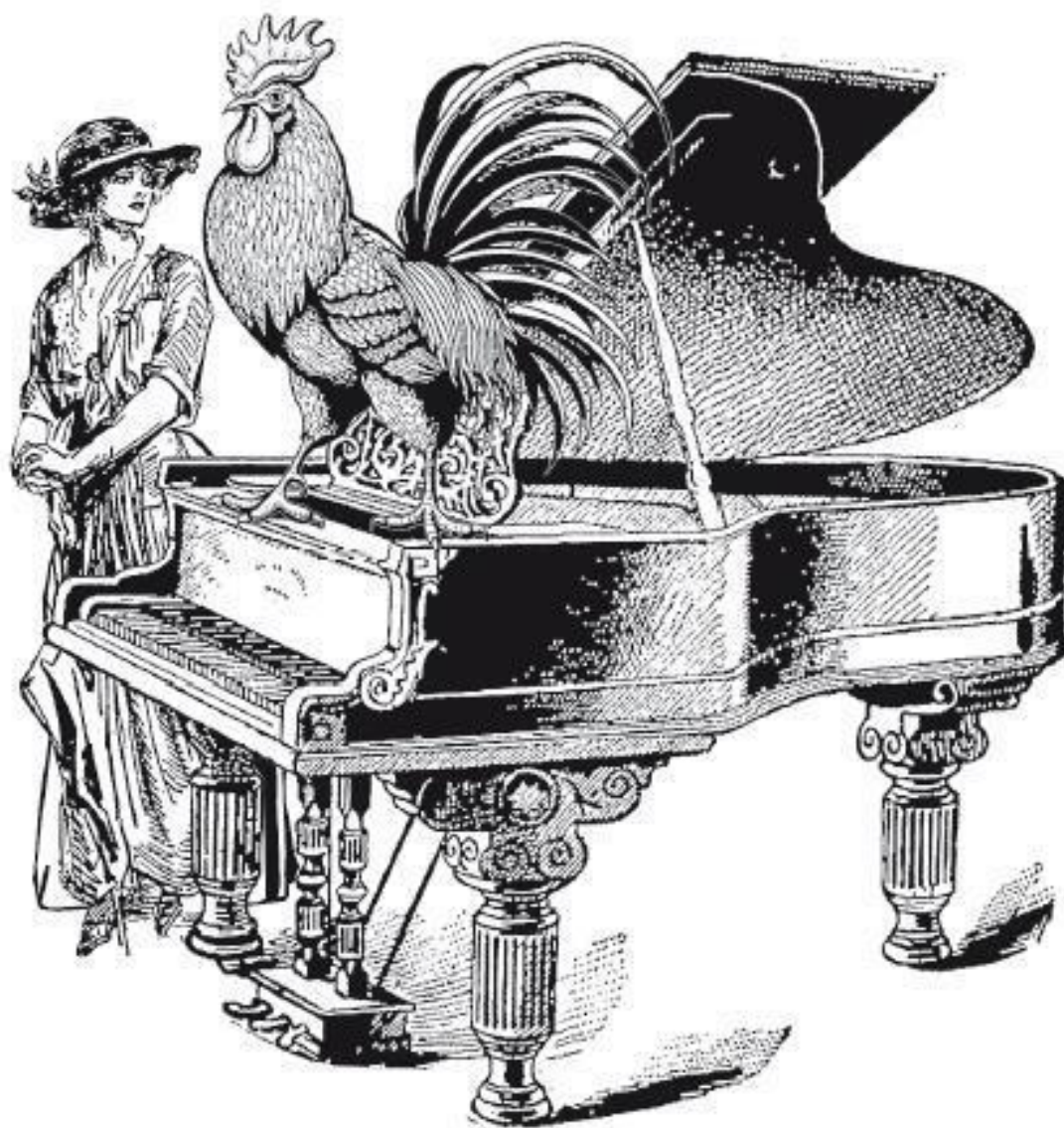
Воскресенье на даче.

Рассказы и картинки с натуры

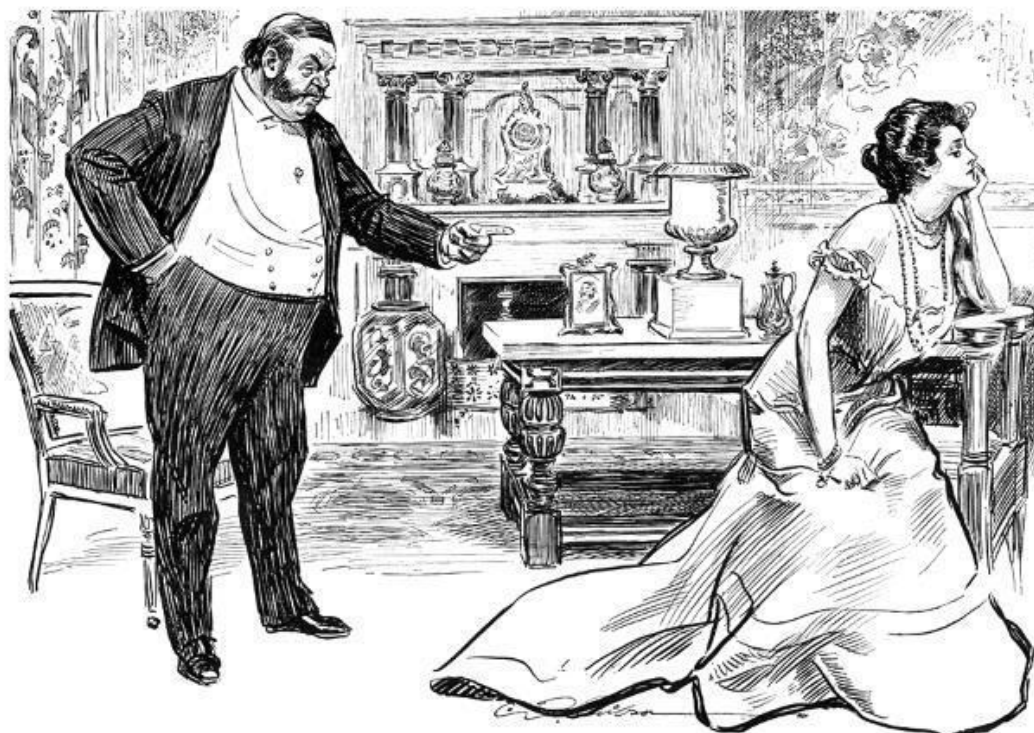


© «Центрполиграф», 2021

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2021



Воскресенье на даче



У русских

Утро. Улицы Лесного оглашаются криками разносчиков. Тут и «цыплята, куры биты», и «огурчики зеленые», и «сиги копченые», и «невска лососина», и пр. и пр. Это выкрикивают тенора. Звонкие сопрано поют то «яйца свежие», то «селедки голландские», то «земляника спелая, земляника». На балконе дачи сидят надворный советник Михаил Тихонович Пестиков и его супруга Клавдия Петровна. Пестиков в халате и в туфлях; супруга в блузе. У обоих головы растрепаны, у обоих лица заспаны. Они почему-то дуются друг на друга, молчат и смотрят в разные стороны. На столе самовар и чайный прибор.

- Налей еще... – говорит Пестиков и подвигает к супруге порожний стакан.
- Могли бы, кажется, и сами... Все я да я... – фыркает супруга.
- Но ведь это, так сказать, женские обязанности в семье...
- Молчите. И без вас тошно. Голова болит.
- Должно быть, как-нибудь неловко лежала во время сна.
- Давайте сюда стакан.

Стакан наполнен чаем. Пестиков прихлебывает и курит папиросу, остервенительно затягиваясь ею. Пауза.

- Ужасно надоедают эти разносчики со своими криками... – начинает супруга.
- Да... Я давеча подошел к палисаднику, так мне один до того надоел, что я хотел его отколотить палкой. Пристает к душе – купи у него раков.
- Да и вообще здесь, в Лесном, скука смертная. Знала бы, не поехала сюда на дачу. Не знаешь, что делать, куда идти.

– Да, невесело. И везде тоска. В Озерках жили – тоска и жид одолел, переехали в Лесной – тоска вдвое и вдвое жид одолел. Мне кажется, что третьего года, когда мы жили в Новой Деревне...

– И там тощица, – перебивает супруга. – Гулять некуда ходить. А наконец, эта музыка из «Аркадии» и «Ливадии». Господи, как она мне надолызла! А эти подлые содержанки, которые жили и направо, и налево!

– Я когда-то холостой жил в Лигове – вот там...

– И я девицей жила с тетенькой в Лигове... Не знаешь, куда деться от скуки. Но здесь, в Лесном, – это уж ни на что не похоже! На кладбище лучше жить.

– Ты бы, Клавденька, съездила сегодня к обедне. По конке за шесть копеек до Новосильцевой церкви отлично. Все-таки народ, публика. Сегодня воскресенье.

– Да вы никак с ума сошли! Ведь нужно одеваться, а я вздумать об этом не могу. Эдакая жара, духота...

– Что мы сегодня будем есть за завтраком?

– Все надоело. Не знаю, что и заказывать. Разве мозги жареные...

– Закажи мозги.

– Лень и заказывать-то.

– Ну, я закажу. Ведь здесь только и утешение, что в еде. Да не худо бы яичницу с ветчиной... Только ветчину нужно хорошую. Ты бы сходила сама...

– Благодарю покорно. Ведь это одеваться надо. Я не видела скучнее места, как Лесной. Выйти куда-нибудь – одеться надо. Оденешься – гулять негде.

– Ну, положим, Беклешов сад.

– Нашли место гулянья! По дорожкам лягушки прыгают, сырость от пруда.

– Тени много. Громадные, старинные деревья... Трава хорошая.

– Что мне тень? Что мне трава? Ведь я не мужик, чтоб развалиться в тени на траве. И наконец, весь этот сад – олицетворенная скука.

– Вот с этим я согласен. А что до прогулки, то... Для прогулки, кроме того, Лесной парк есть. Там и тень, там и цветники...

– До Лесного парка-то от нас язык выставишь, бежавши.

– Кто любит гулять...

– Не люблю я без цели гулять. Ну, пойдешь в парк, в Беклешов сад, а дальше что?

– Дальше действительно делать нечего. В Беклешовом саду, впрочем, можно на лодке покататься.

– В эдакую жару-то? Благодарю покорно.

– Хочешь, сегодня вечером устроим прогулку на лодке, когда солнце сядет?

– Это вместе-то с вами? Велика приятность! Да и если бы компания, и то скучно. Нет, здесь вообще скучно, вообще не знаешь, что делать.

– Невесело-то невесело, но ведь надо же пробовать чем-нибудь развлечься. Хочешь сегодня в клуб идти?

– Чтоб смотреть, как кривляются на сцене бездарные актеры? Чтоб наблюдать, как пятидесятилетние актрисы играют молоденьких девушек?

– В театр можно и не ходить... Мы после театра, к танцам.

– Ну его, этот клуб. Тощица... И наконец, все одне и те же рожи: старая накрашенная холера, пляшущая с гимназистами, две разноперые трактирщицы в шляпах треухом. Да еще запласти деньги за вход!

– Ну, так погуляем по улицам.

– Гуляйте уж одни, наслаждайтесь вереницею мамок и нянек с ребятами.

Опять пауза.

– Позови кухарку. Надо завтрак и обед заказывать. Действительно, одно только и развлечение, что поесть хорошенько, – говорит Пестиков.

– Марфа! Иди сюда! – кричит супруга.

В дверях появляется кухарка.

– Так на завтрак мы мозги и яичницу... – начинает Пестиков. – Яичницу ты, Марфа, сделаешь нам с ветчиной, но не из цельных яиц, а сболтай их с молоком. Сболтаешь и обольешь ветчину. Да прибавь зелены.

– Задумали вы кушанье, которое одни вы только и будете есть. Не терплю я яичницу с молоком... – перебивает супруга. – Яичница, так уж должна быть из одних яиц.

– Тебе мозги, друг мой, останутся. Ведь завтрак – это такая вещь, что и одного блюда достаточно, если впереди хороший сытный обед.

– А сами, небось, будете два есть – и мозги, и яичницу!

– Не найду я вам, барин, здесь, в Лесном, хорошей ветчины... – заявляет кухарка. – Здесь есть в лавке ветчина, но какая-то ржавая. Да и мозгов навряд теперь найдешь, ведь уж поздно, десять часов. Что было – кухарки раньше расхватывали. Мозги, почки, ножки – все это надо с вечера в лавке заказывать.

– Вот это тоже прелести нашей дачной жизни! – язвительно замечает супруга. – Ветчины нет, мозги – с вечера.

– Тогда сделай яичницу без ветчины, но только зелени побольше, зелени...

– А что же вместо мозгов? – спрашивает кухарка. – Бифштексы не прикажете ли?

– Ну тебя с бифштексами!

– Рыбки не изжарить ли тогда, окушков? Рыбаки обличались с рыбой...

Супруга сердится.

– Ничего не надо к завтраку! – кричит она. – Колбасу сухую буду есть! Кофей и колбаса... Ничего не стряпай!

– Но зачем же, душечка, так? Можно что-нибудь другое придумать

– Придумывайте сами, а я не хочу. Лень, тоска, скука – завезли вы меня черт знает куда на дачу.

– Но ведь сама же ты...

– Довольно.

Супруга поднимается с места и уходит с балкона.

– Клавденька! Но надо хоть обед-то заказать! – кричит ей вслед Пестиков.

– Сами заказывайте. Все это мне надоело, скучно, – слышится ответ.

– Желает суп со шпинатом?

Вопрос остается без разрешения.

У немцев

Лесной. Девятый час утра, а на улице уже так и заливаются на все лады разносчики, выкрикивая названия съестных товаров. Вот в палисадник дачи вышел с террасы дачник, обрусевший немец Франц Карлович Гельбе, остановился у решетки и, смотря на улицу, начал вдыхать свежий утренний воздух, широко раздувая ноздри. По улице мимо него проехала телега и обдала его целым столбом густой пыли. Гельбе прищурил глаза, отвернулся и сказал: «Пфуй!» Гельбе был одет по-утреннему: в шитых гарусом туфлях – подарок жены ко дню рождения, в старую коломянковую парочку и был без шляпы. Утренний ветерок свободно гулял по его коротеньким белокурым, как бы из пакли, волосикам и по таким же бакенбардикам на красноватом угреватом лице. Отчихавшись от пыли, Гельбе подошел к тощей клумбе, сорвал несколько цветочков и, сделав из них букетик, отправился в дачу, где, войдя в спальню, со сладенькой улыбкой остановился перед постелью жены и тихо произнес:

– Du schlaefst¹, Amalia?

– Нет, я не спит... – отвечала по-русски тощая немка, раскинувшаяся на кровати, и открыла глаза.

– Da hast du!² – проговорил Гельбе и кинул на грудь жене букетик.

– Франц!

– Амалия!

Супруга раскрыла объятия, и Гельбе, стоя около кровати, погрузился в них.

– Und du... Du amusirst dich schon?³ – спросила она.

– O, ja. Schon seit lange. Bei uns im Garten ist so ge-muthlich⁴.

– Хороший у нас сад, Франц.

– Natürlich⁵.

– Хорошая дача.

– O, ja.

– Спасибо тебе, Франц, что ты мне нанял такой дача, – проговорила по-русски супруга и спросила: – Heute haben wir Sonntag? Сегодня воскресенье?

– O, ja. Вставай... Сегодня мы будем целый день гулять и веселиться. Я придумал много, много удовольствий.

– Danke, danke dir... – закивала головой супруга, поднялась на постели и начала надевать чулки.

Гельбе снова вышел в палисадничек, с гордостью посматривая на пяток тощих деревьев, на куст сирени и на единственную клумбу посреди них. Клумба была убрана скорлупками из-под устриц, стеклянными разноцветными шариками с рождественской елки. Эта была работа рук его супруги, Амалии Богдановны.

– Раки! Живы крупны раки! – раздался голос разносчика.

– Раки! Давай сюда раки! – крикнул Гельбе.

Разносчик развязал корзинку.

– Вихлянские-с... Первый сорт, – сказал он.

– Ох, какие маленькие! Да это тараканы. Эдакая большая у тебя борода и такие маленькие раки!

¹ Ты спишь? (нем.)

² Это тебе! (нем.)

³ Уже наслаждаешься? (нем.)

⁴ О, да. Уже давно. У нас в саду так уютно (нем.).

⁵ Конечно (нем.).

– На кусок зато очень приятные. С удовольствием кушать будете.

Начали торговаться. Гельбке давал аккуратно половину того, что просил разносчик. Разносчик клялся, божился, два раза завязывал корзину и уходил. Наконец сторговались, и Гельбке торжественно понес корзинку на террасу, где уже стояла одетая в серенькое холстинковое платье и вполне причесанная Амалия Богдановна. На ней был даже клеенчатый передник и клеенчатые рукавички – все это нужно было, по ее мнению, по хозяйству.

– Вот тебе сюрприз... Это для фрюштика, – проговорил Гельбке, подавая корзинку. – Сегодня на фрюштик у нас будет Krebs und Wurstessen. Раки и колбаса и больше ничего. Nicht wahr, so ist gut?⁶

– О, ja, Franz... Komm... Ich werde dir ein Kuss⁷.

Амалия Богдановна приблизила к себе голову мужа и вlepила ему поцелуй.

На террасе на столе стояли уже принадлежности кофе. Они сели. Амалия Богдановна сама начала его варить и из экономии на керосине вместо спирта.

– Willst du ein Butterbrod mit Kase? – спросила она. – С сыр хочешь бутерброд?

– О, ja, mein Schatz...⁸

Гельбке принял от жены бутерброд и поцеловал у ней руку.

Они сидели и пили кофе, смакуя чуть не по чайной ложечке. С улицы, через палисадник, к ним приставали разносчики с предложениями товаров, но они не отвечали разносчикам. Гельбке созерцал жену. Амалия Богдановна созерцала мужа.

– Люблю я воскресенье, когда не нужно идти в контору и можно целое утро «веселиться» (sich amtsiren), – говорил Гельбке.

– И я люблю, потому мой Франц со мной... – отвечала супруга.

– И так хорошо у нас здесь на даче, приятно...

– Gemuthlich!..⁹ – протянула Амалия Богдановна и умильно закатила под лоб глаза.

Явились дети, мальчик и девочка – Густя и Фриц, в сопровождении русской няньки. Дети здоровались и говорили по-русски.

– Deutsch... Deutsch... Говорить надо по-немецки... – приказывала им мать.

– Мама! Дай мне бутерброд... – проговорил мальчик.

– Нельзя... Кушай булку и молоко.

– Я хочу бутерброд с колбасой.

– Нельзя, Феденька... – отвечал отец. – Фибрин ты получишь за фрюштиком, а теперь должен кушать мучное и казеин.

Ребенок наморщился и приготовился плакать.

– Я дам ему маленький кусочек... – сказала мать.

– Дай... Но не больше полдрахмы.

Девочка ничего не просила. Она запихала в рот кусок кренделя и сосала его.

– Nun...¹⁰ – проговорил Гельбке, обращаясь к супруге. – Сейчас я тебе сообщу программу наших удовольствий на сегодняшнее воскресенье. После кофе мы будем провожать тебя в лавку, где ты будешь покупать провизию на обед. Густя и Фриц! Вы рады, что мы будем провожать маму в лавку? – спросил он детей.

Вместо ответа мальчик запросил еще колбасы.

⁶ Не правда ли, хорошо? (нем.)

⁷ О, да, Франц... Иди сюда, я тебя поцелую (нем.).

⁸ О, да, милая... (нем.)

⁹ Уютно!.., (нем.)

¹⁰ Итак... (нем.)

– Нельзя, нельзя тебе колбасы... – проговорил Гельбке и продолжал: – Потом фрюштик... и к нам хотел прийти выпить свой шнапс Иван Иванович Аффе... Потом мы возьмем Густю и Фрица и пойдем в Беклешов сад кататься на лодке.

– Зачем лодка? – спросила Амалия Богдановна. – Ты раки купил. Лодка и раки в один день будет дорого. Надо ЭКОНОМИ...

– Но, душечка, ведь раки у нас идут на завтрак. Они заменяют блюдо, и мы не увеличиваем свой бюджет. Ну, ты можешь редиски не покупать. На масле будет экономия.

– Но зато Аффе будет с нами кушать – вот экономии и нет. Он выпьет три-четыре шнапс. О, я знаю Аффе! И он так много пьет! У него очень большой аппетит.

– Зато Аффе заплатит третью часть того, что стоит лодка. После лодки придут Брус и Грюнштейн, и мы будем играть в крокет на пиво. Ты любишь играть в крокет... Ты рада?

– О, ja... Но я люблю, чтоб экономии, а ты можешь проиграть много пива.

– Норма. Мы сделаем норму. Проигрыш не должен быть больше трех бутылок. Ведь пиво в воскресенье в бюджете. Я могу истратить в воскресенье на пиво шестьдесят копеек. На сигары сорок, а на пиво...

Амалия Богдановна погрозила мужу пальцем и сказала:

– О, Франц, ты тратишь больше!

– Ein Kuss...

Гельбке схватил женину руку и поцеловал ее в знак своей виновности.

– Nun... После крокета мы будем обедать... – продолжал он.

– И Аффе, и Брус, и Брюнштейн с нами? – испуганно спросила Амалия Богдановна.

– Нет, они пойдут домой. Вот за обедом ты можешь сделать экономию. Зачем нам суп? Сегодня так жарко. Ты сделаешь форшмак, потом жареные окуни – и довольно. А я могу прибавить бутылку пива.

– Опять пива! Франц, я хотела сказать... Ты сигар много куришь. Надо делать экономию, чтоб в мое рождение была у нас иллюминация. Мой брат Готлиб хотел принести двадцать фонарей...

– Фуй... Оставь, Амалия... Я имею вечерние занятия, и это покроет наш бюджет. Nun... Обедать мы будем на открытом воздухе...

– Здесь, в саду?

– Нет, тут тени нет, а мы снесем стол за дачу, под березу.

– Но там помойная яма.

– Ничего... Все-таки это будет в зелени... Там хорошая береза. А после обеда – маленький моцион... Мы пойдем в кегельбан... Туда придут Аффе, Грюнштейн и Грус, и сделаем несколько партий в кегли. После кегель мы пойдем на прогулку в Лесной парк. Ах, Амалия! Какие там цветы! Ты любишь цветы?

– Да, mein Schatz.

– И вот ты там увидишь много, много цветов. Там я, Аффе, Грус и Грюнштейн споем свой квартет. Хорошо? Nichtwahr gemuthlich?

– Gemuthlich... – отвечала Амалия Богдановна и закатила под лоб свои серые оловянные глаза.

– Вечер мы так и кончим музыкальным удовольствием. Из Лесного парка мы пойдем в лесной клуб музыку слушать...

– Франц... Но ведь там надо платить за вход... Нет, нет, я не хочу. Ни за что не хочу... Надо экономию к моему рождению...

– Маменька... Мамаша... Амалия... Мутерхен... – перебил ее Гельбке. – Мы ничего не будем платить. Мы придем на улицу, встанем около забора клуба и будем слушать музыку даром. И Аффе будет с нами, и Грус, и Грюнштейн... Даром, даром... – повторял он.

– Ну, тогда хорошо.

– А из клуба домой, сядем на террасу и будем слушать кукушку. Будем смотреть на луну и слушать кукушку. Ты любишь кукушку?

– О, ja... Gemuthlich... А потом что? – спросила супруга и улыбнулась.

– А потом ты – моя Амалия. Вот и вся программа, – отвечал Гельбке. – Ты кончила свой кофе?

– Кончила.

– Иди за провизией. Мы тебя будем провожать. Фриц! Густя! Идемте с мамой в лавку.

– Папа! Я колбасы хочу! – кричал мальчик.

– Нельзя, нельзя. Маленькому мальчику вредно утром мясо. Твой фибрин ты получишь за завтраком.

Через десять минут на улице Лесного можно было видеть Амалию Богдановну, шествующую с корзинкой в руках. Сзади шел ее супруг Франц Карлыч Гельбке и вел за руки Фрица и Густю. Гельбке был уже облечен в серую пиджачную парочку и имел на голове соломенную шляпу. В устах его дымилась дешевая сигара, вставленная в мундштук, облеченный в бисерный чехол – подарок Амалии Богдановны.

Еще у русских

Все семейство Михаила Тихоновича Пестикова завтракало, и вдруг старшие его члены рассорились и выскочили из-за стола, не доев даже простокваши.

– Нельзя же жить на даче и никуда не ходить гулять! – кричал Пестиков. – Зачем же тогда было нанимать дачу? Зачем платить полтора рубля?

– Черт вас знает, зачем вы нанимали, зачем вы платили! – отвечала супруга, Клавдия Петровна. – Пуще всего я вам не прощу того, что вы завезли меня в этот поганый Лесной, где тощища смертная, где никуда нельзя выйти, не выпялившись во все свои наряды.

– Где же бы ты желала жить на даче? В Павловске, что ли? Так там, матушка, нужно еще больше выпяливаться. Там, может быть, и веселее, но зато ты там в парк даже без перчаток не покажешься.

– Зато там порядочное общество, а здесь, в Лесном, что такое? Там все-таки стоит быть на вытяжке, стоит надевать корсет, стоит натянуть перчатки и шляпку.

– Но должны же мы хоть моцион сделать. В будни я целые дни на службе...

– Вы и идите одни, если вам нужен моцион.

– Нельзя же и тебе без моциону.

– Мне достаточно мой моцион вот здесь на балконе сделать.

– Детям нужен моцион.

– Забирайте детей и идите.

– При живой-то жене да возиться с ребятами? Благодарю покорно.

– При вас нянька будет.

Произошла пауза. Жена, в блузе и непричесанная, с крысиным хвостиком вместо косы, сидела в углу террасы и дулась. Муж ходил из угла в угол и усиленно затягивался папироской.

– Полно, полно, матушка, пойдем. Надо же детей прогулять. Иди, оденься и пойдем хоть до Гражданки, что ли... Туда дорога лесом, в тени...

– Вот в Гражданку-то я именно и не пойду. Что там делать? Смотреть, как в палисадниках пьяные немцы пиво пьют?

– Ну, в Лесной парк пройдем.

– Да в Лесном парке, я думаю, теперь с заблудившейся собакой не встретишься. Затянешься в корсет, выпялишься в платье – и иди в Лесной парк! Что там делать? Какая цель? Еще если бы там был ресторан, то можно было бы прийти, сесть, чаю напиток или мороженого съесть.

– Посмотрим на цветочки. Там отличный цветник.

– Я не садовница.

– На цветы любят не одни садовницы.

– Ну не девочка, не институтка, чтоб на цветочки умиляться.

– Пойдем в Беклешов сад, посмотрим, как на лодках катаются по пруду.

– Чтобы меня Доримедонтиха с ног до головы пронзительным взглядом осмотрела и на все корки процыгани-ла? Она там днюет и ночует, сидя на скамейке у пруда. В новом платье, сшитом по вашему совету, обезьяной на шарманке выгляжу.

– Вздор. Прекрасное платье.

– Да ведь я вижу, как она меня цыганит. Ведь она, не стесняясь, так вслед и говорит: «Вон разноперая сорока идет».

– А ты ее процыгань.

– С кем? С вами, что ли? Так вы на гулянье, словно истукан, молча идете и только свою папиросу сосете. А она сидит и цыганит всех в целой компании таких же, как и она сама, барабанных шкур.

– Ну, полно, Клавденька... Пойдем пройдемся... Я понимаю, что здесь, в Лесном, место скучное, но уж ежели переехали, то надо же пользоваться тем, что есть. Иди оденься.

Супруга сдалась и отправилась одеваться. Нянька и кухарка сбились с ног, полчаса отыскивая ключи от шкапа, четверть часа таскали по комнатам юбки, потом начали закалывать щипцы для завивки хозяйкиной челки на лбу. Наконец хозяйка вышла с сильными слоями пудры на лице, с густо выведенными бровями, затянутая в корсет, и проговорила, обращаясь к мужу:

– Ну, взгляни на милость, разве я не похожа в этом платье на пестроперую сороку?

– Не нахожу.

– Вы никогда ничего не находите! Я не понимаю, для чего у вас глаза во лбу! – крикнула она.

– Готова ты, душечка?

– Готова-с. Ведите на тоску и скуку. Радуйтесь, что на своем поставили.

– Феденька, Лизочка, Катенька! Сбирайтесь. Мы идем в Лесной парк.

– Как в Лесной парк? Ведь вы сказали – в Беклешов сад?

– Но ведь ты не желаешь встречаться вместе с Дори-медонтихой.

– Напротив. Я именно теперь желаю ее встретить, чтоб пройти мимо нее и плюнуть в ее сторону.

– Пожалуйста, только ты не заводи скандала.

– Нарочно заведу, если она что-нибудь скажет мне вслед...

– Ну, что же это такое! – развел руками Пестиков. – Тогда уж лучше не идти в Беклешов сад.

– Нет, уж теперь-то я нарочно пойду. Вы меня вытащили, а я вас поташу. Дети, собирайтесь! Нянька! Вытри нос Катеньке.

Семейство вышло из палисадника дачи и поплелось по дорожке около дач.

– Клавденька... Только ты, бога ради, насчет Доримедонтихи-то... – начал муж.

– Назло вам заведу скандал... – фыркнула жена.

Муж шел как на иголках.

– Что же это такое! Идти гулять и вдруг сцепиться с посторонней женщиной!

– А вы зачем меня звали на прогулку? Вытащили – вот теперь и казнитесь.

– Если бы я знал, то, само собой, не потащил бы...

– Вон целая компания жидов и жиждовок навстречу тащится! И ведь как вырядились, каналы. Наверное, потаскали из своих ссудных касс заложенные вещи... Думаете, приятны такие встречи?

– А ты не гляди на них! Ведь они только пройдут мимо.

– И мимо-то, когда они идут, и то неприятно. Вон одна жиждовка даже в шелковом парике.

– Тише. Ну зачем же кричать? Ведь она слышит.

– Пускай слышит. Фу, как запахло чесноком!

– Клавденька...

– Тридцать два года знаю, что я Клавденька.

– Если бы я знал, что это все так будет, то ни за что на свете не вызвал бы тебя. Знаешь что? Я не пойду дальше.

– Идите, идите уж, если выманили меня.

– Дай мне слово, что ты в Беклешовом саду не сцепишься с Доримедонтихой.

– Да чего вы ее боитесь-то?

– Я ее не боюсь, но не желаю скандала. Ну, дай мне слово...

– Я только плюну в ее сторону. Пусть она видит.

– Честное слово только плюнешь?

– Да, уж ладно, ладно! Идите.

- Ты плюнь так, чтобы не было заметно.
 - Тогда польза? Мне нужно сердце сорвать.
 - Пожалуйста, Клавденька...
- Они входили в Беклешов сад.

Еще у немцев

Франц Карлович Гельбке, супруга его Амалия Богдановна и их дети только что вернулись из лавки с закупленной для стола провизией и уселись на террасе, как у калитки палисадника показался ожидаемый гость. Это был Аффе, конторщик какого-то страхового агентства, молодой полный брюнет, но уже плешивый и в очках. Он был не один. С ним была сестра его, кругленькая румяная немочка Матильда. Мадам Гельбке, как увидела, что Аффе не один, так и всплеснула руками от ужаса.

– Gott im Himmel!¹¹ Франц! Что это такое! Аффе не один, а с сестрой... – проговорила она. – Матильда с ним. А ты сказал, что фрюштить будет он у нас один. Два гостя... Где же тут экономия на мое рождение? Матильда всегда так ест много... У ней такие большие зубы, такой большой аппетит.

– Stiel, Amalchen! Оставь. Я убавлю сегодня бутылку пива из моего бюджета за Матильду, убавлю одну сигару.

– Она больше съест, чем стоит бутылка пива и сигара. У ней такой большой рот. Ты звал Аффе с сестрой... звал и ничего мне не сказал.

– Ей-богу, я не звал его с сестрой. Я его звал одного. Но ты не показывай вида... Я убавлю и завтра бутылку пива.

Отворив калитку в палисадник, входили Аффе и Матильда. Аффе весело скалил свои белые зубы и декламировал старинные стихи:

Einst kam ein Todter aus Mainz,
An die Pforte des Himmels...

– Герр Гельбке, мадам Гельбке... здравствуйте... А я с сестрой, а сестра с подарком для ваших детей, – сказал он.

Матильда держала в руках маленькую корзиночку с земляникой и говорила:

– Fur die Engelchen...¹² Для ваших детей. Здравствуйтесь, мадам Гельбке.

Дамы поцеловались. Мадам Гельбке, видя приношение, несколько смягчилась, усадила около себя Матильду и стала ей рассказывать, как можно варить дешевый суп из рыбных голов, хвостов и костей.

– Мякоть надо снять с кости и жарить на жаркое, а головы, хвост и кости спрятать и варить на другой день суп. Варить долго, потом протереть, прибавить немножко масла, муки, петрушки – и суп готов. Головы от селедки можно тоже в суп, – прибавила она.

– Беда с женщинами! – оправдывался Аффе. – Хотел сестру оставить дома, но она, узнав от меня вашу программу воскресных увеселений, ударилась в слезы – ну, и пришлось взять.

Подали фрюштик. Кроме раков и жареной колбасы, ничего не было. Аффе и Гельбке выпили по три рюмки водки, хотели пить по четвертой, но мадам Гельбке схватила со стола бутылку и сказала:

– Genug... Довольно... Мой Франц не должен пить за завтраком больше трех рюмок шнапс...

Они принялись за пиво. Лица их покраснелись. Шел шумный разговор о Каприви, потом о Бисмарке, затем о предстоящем празднике в обществе Лидертафель и, наконец, о каком-то Кнопфе, который приехал сюда из Дерпта, кончившем курс ветеринарии и получившем место химика на химическом заводе, место с окладом в три тысячи рублей.

¹¹ Боже мой! (нем.)

¹² Для ангелочков... (нем.)

– Через три года будет богатый человек, – прибавил Гельбке. – Фрейлейн Матильда... Вот старайтесь быть хорошей экономной хозяйкой, когда Кнопф будет у вас в гостях. Жених отличный. Увидит, что вы хорошая, экономная хозяйка, и попадет в ваши сети. Он любит экономию.

Матильда зарделась как маков цвет и тотчас же замяла разговор, сказав мадам Гельбке:

– Как у вас здесь приятно... So gemuthlich... И садик... Цветы...

– Это все я сама и мой Гельбке... – отвечала Амалия Богдановна.

После второй бутылки пива Гельбке и Аффе вдруг запели вполголоса «Wacht am Rhein»¹³. Вдруг на улице заиграла шарманка. Она играла вальс. Гельбке вскочил с места, подскочил к Матильде и со словами «Fraulein, bitte...»¹⁴ завальсировал с ней по террасе. Дребезжала посуда на столе. Амалия Богдановна только что успела отодвинуть стол к сторонке, как и Аффе подскочил к ней и завертелся в вальсе.

– Пожалуйста, сигару выньте изо рта! Сигару! – кричала Матильда вальсировавшему с ней Гельбке. – Вы мне ей ткнули в лицо.

– Ах, пардон, фрейлейн... – вскричал запыхавшийся Гельбке, остановился, вынул изо рта сигару, положил ее на тарелку и снова завертелся.

Они танцевали чуть не до упаду и, раскрасневшиеся, с потными лицами, плюхнулись на стулья.

– Хорошо повеселились, Матильда? – спрашивала мадам Гельбке, обмахиваясь носовым платком.

– О, ја, мадам Гельбке. Мерси за удовольствие.

– Танцы не входили в программу сегодняшних увеселений, – сказал Гельбке. – Это сюрприз дамам. Амальхен, могу я дать шарманщику пять копеек? – спросил он жену.

– Да... Но за это ты, когда будет дождик, должен ехать по конке вместо внутреннего места на империале и сделать экономию.

– Хорошо, – сказал Гельбке и полез в карман за деньгами.

– Не надо. Я дам шарманщику, – остановил его Аффе и, вынув пятак, понес шарманщику, прибавив: – Мы с сестрой пользуемся сегодня угощением от вас, стало быть, музыка должна быть наша.

– Очень любезно с вашей стороны, – кивнула ему мадам Гельбке.

– Теперь wollen wir gehen¹⁵ в Беклешовский сад кататься на лодке, – сказал Гельбке. – Так говорит наша воскресная программа. Kinder! Фрицхен, Густя! Собирайтесь кататься на лодке, – обратился он к детям. – Герр Аффе! Расходы по катанью на лодке пополам.

– Ну, герр Аффе может заплатить только третью часть. Во-первых, их только двое, а нас четверо, а во-вторых, он шарманщику платил, – смиловилась мадам Гельбке.

Все засуетились, собираясь в Беклешов сад. Через пять минут шествие тронулось. Впереди шли дети, держа друг друга за руку, как им было приказано родителями. За детьми шествовала мадам Гельбке с Матильдой, а сзади сам Гельбке с Аффе. Мадам Гельбке шла и рассказывала Матильде, что в будни она хочет заменить за столом салфетки бумажками, так как это будет стоить много дешевле.

– За границей это введено даже во многих ресторанах, – прибавила она, обернувшись к мужу и сказала: – Франц! Не шаркай так сильно ногами по песку. Ты и то много сапог носишь.

¹³ «Стража на Рейне» (нем.).

¹⁴ Позвольте, фрейлейн (нем.).

¹⁵ Мы хотим идти (нем.).

Паки у русских

Семейство Пестиковых ходило гулять в Беклешов сад, но вернулось оттуда со скандалом. Клавдия Петровна Пестикова сцепилась с какой-то Доримедонтихой, и дело чуть не дошло до зонтиков. Дело в том, что Доримедонтиха, купеческая вдова, сидевшая «на выставке», то есть на скамейке около пруда, в сообществе своей прихлебательницы, старой девы Бирюлкиной, прошипела что-то вслед Пестиковой насчет ее платья. Пестикова обернулась и сказала:

– Где уж нам за всеми шлюхами в нарядах угоняться! У меня платье сделано на трудовые деньги мужа, а не на награбленные деньги, оставшиеся от старого купчины-подрядчика.

– Что? – заревела Доримедонтиха.

– Ничего. Проехало. Повторять для вас не стану. Ежели бы хотели слушать, так ототкнули бы прежде уши.

– Клавденька! Клавденька! Оставь... Что ты! – суетился муж, но дамы уже награждали друг друга эпитетами «крашенная выдра», «трепаная кляча» и т. п.

Пестиков подхватил детей и побежал по направлению к темным аллеям, ибо скандал вышел публичный. Супруга вскоре нагнала его. Она была просто рассвирепевши и кричала мужу:

– Тряпка вы, а не мужчина! Вместо того, чтобы защитить жену, вы бежите прочь.

– Душечка, но ведь я должен избегать скандала: я на коронной службе. Выйдет огласка, узнает начальство... Могут быть неприятности.

– Молчите! Вы истукан медный, а не муж.

– Поневоле будешь истуканом, если надо себя беречь. Тут шляются разные репортеры. Ну, что за радость попасть в газету? Всякий будет спрашивать, в чем дело, начнут смеяться, подтрунивать. Да, наконец, и она может подать на нас мировому. Ей что! Ей наплевать. А меня могут выгнать со службы, и семейство останется без куска хлеба.

– Она на нас подаст к мировому! Я на нее подам к мировому! – вопияла мадам Пестикова. – Она меня первая оскорбила.

– Нет, уж ты этого не делай... Бога ради, не делай... Ты меня пощади.

– Вас щадить, так дойдет до того, что меня по щекам будут бить.

– Ну, полно, полно...

Перебраниваясь таким образом, они дошли до своей дачи, вошли в палисадник и все еще продолжали перебраниться. Муж говорил вполголоса и поминутно прибавлял:

– Тише, бога ради тише, нас могут соседи услышать.

Но жену это еще больше раздражало, и она голосила еще сильнее.

– Господи, что же это такое! Как воскресенье, как праздник, так у нас скандал и перебранка! – вздыхал он.

– Сами виноваты. Зачем завезли меня в этот поганый Лесной? Здесь иначе и делать нечего, как перебраниться. Здесь все перебраниваются, в клубе и то перебраниваются, даже дерутся. Тут скучища страшная, народ обалдевает и лезет друг на друга.

– Но ведь ты сама нанимала здесь дачу.

– Вы должны были предупредить меня, остановить, доказать, что здесь ни погулять в уединении, без вытяжки, нельзя, ни...

– Душечка! Но, когда мы жили в усадьбе в Новгородской губернии на даче, ты сама роптала, что бродишь, как дикий зверь, одна. Как на тебя угодить?

– Довольно. Достаточно. Тряпкой вы были, тряпкой и останетесь.

В это время мадам Пестикова обернулась и увидела, что с соседней дачи с верхнего балкона на нее уставились два женские глаза и смотрят через забор, очень внимательно прислушиваясь к крикам.

- Вам что надо? Вы что выпучили глаза в наш сад? – крикнула она соседке.
- Ах, боже мой! Не выколоть же мне себе глаза. Я на своем балконе...
- Быть на своем балконе вы можете, но рассматривать чуть не в микроскоп наш сад вы не имеете права. Мы за вами не следим, и вы за нами не следите.
- Ах, боже мой, какие строгости!
- Да-с... Строгости. Вы бы еще бинокль наставили, взяли слуховую трубу.
- Зачем мне слуховая труба, если вы кричите на весь Лесной? Я лежала на диване и читала книгу, но вдруг такой крик, что я думала – уж не пожар ли. Я и выскочила.
- Ну, выскочили, а теперь и убирайтесь обратно. Вишь, какую обсерваторию у себя на балконе завели!
- Не ты ли мне это запретишь?
- Я. Что это, в самом деле! Нельзя у рыбака сига купить, чтобы ты с вашей вышки не высматривала и не звонила в колокола по всему Лесному, что у нас пирог с сигом, что за сига я дала шесть гривен.
- Позволь, позволь... Да как ты мне смеешь говорить «ты»!
- Как смела, так и села! Ведь и ты мне говоришь «ты». Людям делать нечего, они каждый час со своего балкона глаза на наш сад пялят, да еще не смей им ничего сказать! Скажите на милость, какие новости!
- Полно врать-то! Что ты мелешь! Ты сама шляешься около окон нашей кухни да вынюхиваешь, что у нас на плите кипит, – доносилось с балкона.
- Некогда мне вынюхивать, у меня дети, мне впору только с детьми заниматься, а вот как у тебя, кроме двух паршивых мосек, никого нет, так ты и завела обсерваторию. Ты хоть у мосек-то бы блох вычесывала.
- Ах ты, дрянь эдакая! Да как ты смеешь мне это говорить!
- А за эту дрянь хочешь на полицейские хлеба, шлюха ты эдакая?
- Сама шлюха грязнохвостая!
- Брешь! Я не шлюха, а надворная советница, кавалерша.
- Оно и видно, что надворная! Совсем надворная, а не комнатная.
- Молчать! Ты думаешь, я не знаю, кто такое тебе этот плешистый полковник, который к тебе ездит! И про жиду знаю, какой ты с него браслет сорвала. Вдова... Вдовой-то ты только числишься, а на самом деле...
- О-го-го-го! Постой я в тебя, мерзкую, горшком кину. На вот... Получай! – крикнула соседка, швырнув с балкона цветочным горшком, но горшок не перелетел через забор.
- Ты кидаться! Ты кидаться! Так ладно же, и я у тебя все стекла в даче камнями перебью.
- Мадам Пестикова пришла в ярость и начала искать в саду камень.
- Клавденька! Клавденька! Опомнись! – слышался шепот мужа с террасы. – Ведь это черт знает что такое! Смотри, около нашего палисадника посторонний народ останавливается.
- Вы что там шепчетесь! Берите полено и идите сюда на подмогу.
- Друг мой, ты иди сюда!
- С балкона полетели в сад картофелины. Мадам Пестикова поднимала с дорожек сада куски битого кирпича и швыряла на соседний балкон.
- Пестиков сидел на террасе за драпировкой и в отчаянии воздевал руки к потолку.
- Боже милостивый! Что же это такое! В один день два скандала! – шептали его губы.

Паки у немцев

Семейство Гельбке и Аффе с сестрой возвращались домой с прогулки из Беклешова сада, где они катались на лодке. Когда они подходили к своей даче, то у калитки палисадника их уже дожидались гости: Грус, рыжеватенький молодой человек с усиками и в веснушках, и Грюнштейн, худой, черный, как жук, мужчина с чертами лица, напоминающими семитическое происхождение. Они стояли и смотрели навстречу приближающимся Гельбке, причем Грус вынул из жилетного кармана часы и держал их в руке.

– Мы аккуратны, как хронометр, а вы просрочили ваше время... – говорил он по-немецки. – Вы звали нас на партию в крокет ровно в три часа, мы были без двух минут три у вас, а вы являетесь домой только в шесть минут четвертого.

Гельбке, в свою очередь, вынул часы и сказал:

– Две минуты четвертого, но я думал, что мои часы вперед.

– Ваши часы отстают – это вам говорит часовых дел мастер, – стоял на своем Грус. – Дайте ваши часы, и я им прибавлю ходу.

Грус прибавил ходу часам Гельбке. Между прочим у калитки происходили взаимные приветствия.

– Ну, как ваша невеста, герр Грус? – спросила мадам Гельбке.

– Frisch, raunter und gesund...¹⁶ – отвечал Грус, входя вместе с другими в палисадник дачи. – Цветет как роза.

– Когда свадьба?

– У невесты не хватает до свадьбы тридцать три рубля, у меня сто четырнадцать.

– Так давно копите, и все еще не хватает. Вы, Грус, должно быть, много пьете пива и много курите сигар.

– О, нет... Дома за работой я теперь курю трубку, мадам Гельбке, что делает мне четыре рубля экономии в месяц, но что вы сделаете, если мои давальцы все такой народ, как ваш Гельбке. У него часы отстают, а он не несет их к часовому мастеру.

– Гельбке год назад чистил у вас свои часы, и если они отстают теперь, то это ваша вина. Нет, в самом деле, когда же свадьба?

– Скоро. Я полагаю, что к сентябрю у нас будет назначенная для женитьбы сумма в тысячу пятьсот рублей. На прошлой неделе я получил готовое место для заводки часов в одном приюте, кроме того, генерал фон Пфифендорф поручил мне выбрать ему хорошие бронзовые часы для гостиной, и здесь я буду иметь рублей пятнадцать комиссии.

– Ну, Гельбке! Скорей крокет, крокет! – хлопал в ладоши Грюнштейн. – А пока, где ваши дети? Я им принес из вашей аптеки ячменные леденцы. Густинька, Фрицхен! Da haben sie!¹⁷ гостинцы.

Мадам Гельбке радостно улыбнулась, подвела к Грюнштейну детей и говорила:

– Кланяйтесь и скажите: благодарю, герр провизор.

– А как идет у них дело с гимнастикой?

– О, Фриц совсем акробат, – отвечал за жену Гельбке и прибавил: – Амальхен! Ты не просрочь время. В три с половиной часа они должны делать четверть часа упражнения на трапедии, а в четыре часа им следует получить в пищу казеин. Есть ли для них молоко?

– О, sei ruhig...¹⁸ Я не как ты... Я аккуратная мать, – отвечала мадам Гельбке. – Мои часы на шесть минут не отстают.

¹⁶ Свежа, резва и здорова... (нем.)

¹⁷ Вот вам (нем.).

¹⁸ Успокойся (нем.).

– Aber¹⁹, Amalchen... – хотел оправдываться Гельбке.

– Нечего, Амальхен! Ты был вчера в городе и мог поверить часы по пушке. Наконец, вчера была суббота... К вам по субботам ходит в контору для заводки часов часовых дел мастер, и ты мог у него поверить свои часы. Гельбке! Ты перестаешь быть аккуратным! – погрозила она ему пальцем.

Гельбке и Аффе устанавливали дуги крокета и вынимали из ящика шары.

– А аптекершнапс будете пить? Я принес аптекер-шнапс, – говорил Грюнштейн, вынимая из кармана аптечный флакон с красной жидкостью.

– Нет, нет! Теперь нельзя! Гельбке и Аффе пили четыре шнапса за фрюштиком! – вскричала мадам Гельбке. – Они пили и так больше своей порции. Я позволяю Гельбке пить не больше двух шнапсов по воскресеньям за фрюштиком. А это все Аффе виноват.

– Мамахен, мы пили только три шнапса, а четвертый ты нам не дала, – заискивающим тоном сказал Гельбке.

– Врешь, врешь! Четыре.

– Я и Грус выпили сегодня тоже по четыре.

– Это не делает вам честь. А невесте Груса я скажу, чтобы она лишила его за это права три дня целовать ее руку.

Гельбке подошел к жене и тихо сказал:

– Мамахен, ведь Грюнштейн угощает, ведь этот шнапс будет даром. Позволь нам выпить.

– Даром! Ты забываешь, что я должна подать колбасы на закуску. Ведь Грюнштейн без закуски пришел, – так же тихо отвечала она. – А хлеб?

– Полно, Амальхен... У вас от фрюштика осталось десяток раков – вот мы раками и закусим.

– А порядок? Ты ни во что не ставишь порядок? А твоя печень? Вот ежели бы ты был капиталист, то я позволила бы тебе рисковать здоровьем. Ты должен беречь свое здоровье для жены и детей.

– Душечка, ведь я застраховал для вас свою жизнь в пять тысяч. Позволь, мамахен, выпить шнапс.

– Пей, но я буду сердиться, – отвечала мадам Гельбке и надулась.

– Есть разрешение на шнапс? – спрашивал Грюнштейн, следивший за перешептыванием.

– Есть, есть! – радостно воскликнул Гельбке.

Появилась рюмка и тарелка раков.

– На траве будем пить, на траве... Садись все на траву... Садись вокруг, – командовал Аффе и весело запел:

Bin ich in Wirthshaus eingetreten
Gleich einen grossen Kavalier,
Da lass ich Brodt und Braten liegen
Und greife nach den Korkenziher...

– О, Аффе! Какой вы кутила. Я не люблю таких. Я удивляюсь, как вам ваша сестра позволяет, – погрозила ему пальцем мадам Гельбке.

Мужчины по очереди пили аптекершнапс.

– Восторг что такое! – говорил Гельбке, проглатывая рюмку жидкости.

– На самом лучшем спирту, и собраны все травы, способствующие к пищеварению. Это жизненный эликсир, – хвастался Грюнштейн.

– Честь и слава провизору Грюнштейну! – крикнул Аффе.

¹⁹ Но... (нем.)

– Удивительная крепость! – сказал Грус.

Мадам Гельбке продолжала дуться и шептаться с сестрой Аффе.

– Мамахен! Мы так веселимся, а ты дуешься и расстраиваешь наше веселье. Полно, брось... Hier ist so gemuthlich, aber du... Ach, Schande...²⁰

– Sehr gemuthlich! Ausserordentlich gemuthlich!²¹ Еще... – кричал Аффе, подставляя рюмку, и прибавил по-русски:

– Русская пословица говорит: остатки сладки.

– Meine Herrschaften! Wollen wir noch²² выпивае'еп, – предложил Грюнштейн, спрягая русский глагол «выпить» на немецкий манер. – Мадам Гельбке нас простит. Она добрая.

Предложение было принято.

²⁰ Здесь так приятно, а ты... Ой, как жадь... (нем.)

²¹ Очень приятно, чрезвычайно приятно! (нем.)

²² Дамы и господа, давайте еще... (нем.)

Паки и паки у русских

Лесной. Вечер. Солнце, позолотив в последний раз крыши домов, опустилось за сосны. Повеяло прохладой. Поулеглась пыль на дороге. Стала садиться роса. На балконах и террасах дач появились самовары. Бродили по улицам пьяные дворники. Раздавались где-то отдаленные звуки гармонии, кто-то где-то сочно ругался. На террасе, около остывшего самовара, перед только что сейчас выпитыми стаканами и чашками сидело семейство Пестиковых. Супруги молчали, дулись друг на друга и позевывали. Дети еще продолжали пить чай, раздрызгивая в чашках куски булки. Клавдия Петровна Пестикова наградила их подзатыльниками и прогнала спать. Из комнат стал доноситься рев ребят. Михайло Тихоныч Пестиков пыхтел и усиленно затягивался папироской.

– Переодеться в халат, что ли, – пробормотал он, отправился в комнаты и вскоре оттуда явился в халате и туфлях.

Клавдия Петровна тоже сходила в спальню и вернулась в ситцевой блузе и без привязанной косы, а с собственным крысиным хвостиком. Она сидела с размазанными по лбу бровями. Сероватая полоса от накрашенной брови шла кверху и упиралась в пробор волос.

– Марфа! – крикнула она кухарке. – Прибей самовар-то! Что ему тут торчать.

Самовар прибран.

– Вот и еще воскресенье прошло, – проговорил Пестиков.

– Да уж нечего сказать, приятное воскресенье, приятный праздник! – отвечала жена.

– Кто же, душенька, его испортил? Ведь ты сама. Сама ты полезла на ссору с Доримедонтихой, сама ты задела соседку и сцепилась с ней.

– А по-вашему, молчать, по-вашему, дозволить над собой делать всевозможные надругательства?

– Мало ли, про кого что говорят заглазно.

– Вовсе не заглазно. Доримедонтиха прямо вослед мне хохотала над моим платьем, она нарочно так хохотала, чтобы я слышала.

– Да, может быть, она об чем-нибудь другом хохотала.

– Ну, уж пожалуйста! Что я, маленькая, что ли! Разве я не понимаю? А эта наша соседка, так просто она меня бесит своим нахальством. Чисто обсерваторию у себя на балконе устроила. И как только у нас в саду какой-нибудь разговор – сейчас она выскочит на балкон, выпучит глаза и свой лопух расставит, чтобы ни словечка не проронить, что мы говорим.

– Но ведь тут дачи так смежно построены, так виновата ли она?

– А вы зачем меня в такое место завезли жить, где дачи смежно построены?

– Душечка, ты сама выбирала дачу.

– Я думала, что палисадник, отделяющий нашу дачу от соседней дачи, зарастет чем-нибудь.

– Чем же тут зарасти, если и кустов-то нет, а сидит всего на все две голые сосны. Соседский балкон так устроен, что...

– Пожалуйста, не заступайтесь за эту шлюху, иначе я подумаю, что у вас с ней шуры-муры начинаются. Да и то... Всякий раз как я про нее начну – вы сейчас заступаться. Какая-нибудь дрянь – и вам дороже жены.

– Ну, а что хорошего, вдруг две дряни, Доримедонтиха и соседка, подадут на тебя к мировому?

– На меня подадут, но не на вас, – резко отвечала супруга.

Пауза. За палисадником послышался еврейский жаргон проходящего мимо еврейского семейства, и потом все стихло. Минуту спустя два дворника вели третьего. Он упирался, барахтался и кричал:

– Загуляла ты, ежова голова!

– А уж и тощища же здесь! Сплетницы, жида, пьяные дворники – и больше ничего... – опять начала супруга. – Такой скуки нигде нет.

– Да уж слышали. Что все об одном толковать! – отвечал супруг.

– Ну, скажите по совести: разве вам самим не скучно?

– Скучно, но что же делать-то? Нам будет везде скучно, потому что мы веселиться не умеем. Нам будет и в Павловске скучно, и в Лесном скучно, и в Озерках скучно. А немцы вон везде веселятся, даже в Лесном веселятся.

Видела давеча в Беклешовом саду катавшуюся на лодке немецкую компанию. Солнце печет, жарко – они без сюртуков, поют песни. Вышли на островок – расселись на траву, начали пиво пить, полезли на деревья.

– Ну, что немцы! Что об немцах разговаривать! Немец – как таракан, он везде уживается, и везде ему удобно и уютно.

Опять пауза. Мимо палисадника пробежала, шурша туго накрахмаленным платьем, горничная. За ней гнался рослый гимназист в коломьянковой блузе и в форменной фуражке. Горничная кричала:

– Хороша Наташа, да не ваша! Кругла, да не тронь ее из-за угла.

– Ведь это удивительно! – начинает Клавдия Петровна Пестикова. – Никто из знакомых даже в гости в этот поганый Лесной не едет. Два воскресенья сидим с тобой глаз на глаз и хотя бы кто из знакомых заглянул.

– Ну, скажите на милость! – всплеснул руками Пестиков. – А приедут гости, ты на них фыркаешь. Тут как-то приехали Петр Михайлыч с братом, Кузьма Иванович, и ты так приняла их нелюбезно, что просто мне совестно было.

– Еще бы, вы засели в винт играть на целый вечер! Они приехали в карете, я намекаю, что не дурно бы всем в «Аркадию» съездить, благо у них карета, а они даже и не внимают.

– Душечка... Но стеснять гостей! Ведь они затем именно и приехали к нам в гости, чтобы поиграть в винт.

– Нет, сюда не оттого не едут гости, а просто оттого, что здесь место скучное. Во-первых, место скучное, а во-вторых, эта проклятая конка, которая тащится полтора часа. Вагоны отходят только до одиннадцати часов вечера, да еще и не всегда в них попадешь. Ты посмотри последние вагоны... Ведь места чуть не штурмом берут. Извозчиков мало... А которые извозчики есть, то те в праздник вечером ломают за конец в город два рубля.

– Везде то же самое! – махнул рукой муж и пронзительно зевнул во весь рот.

Зевнула и жена.

За палисадником у соседей послышался возглас:

– Ах, Франц! Ты слышишь? Кукушка... Послушаем кукушку. Как я люблю, когда кукушка кукует!

Пестиков зевнул еще раз. Жена ему вторила. У соседей раздавалось:

– И как хорошо соснами пахнет! Это так здорово. Ты любишь запах сосны? Смотри, какая ночная бабочка...

– Что ж мы сидим да, как совы, глаза палим? Уж надо спать ложиться, что ли, – проговорил Пестиков.

– Действительно, больше нечего делать. Тощища смертная, – отвечала супруга. – Ты вот что... Ты посыпь сегодня в спальне персидским порошком. Это и от блох хорошо, и от комаров хорошо.

– Сыпь сама. Мне лень. Я и так хорошо сплю.

– Вот немец соседний уж не сказал бы этого, а услужил жене.

– То немец.

Звякнул нутряной замок, запирающий дверь, выходящую на террасу, и скоро в даче мелькнул огонек, мелькнул и погас. Затем в даче все стихло.

Паки и паки у немцев

Бледно-лиловая июньская ночь спустилась над Лесным. Трубят комары. Амалия Богдановна Гельбке, переодевшись из холстинкового платья в блузу, сидит на ступеньках, ведущих на террасу дачи, и отмахивается веткой акации от комаров. Франц Карлыч Гельбке, в старой коломьянковой парочке и в гарусных туфлях, поливает из лейки цветы в своей единственной клумбе. Походка его не совсем тверда. Он слегка покачивается.

– Amalchen! Nicht wahr, bei uns ist sehr gemuthlich?²³ – спрашивает он жену заплетающимся языком.

– O, ja, Franz, aber diese²⁴ комары... Ужасно они кусают.

– Это хорошо, мамахен.

– Что же тут хорошего, Франц? Я вся искутана. Больно, чешется.

– О, ты не знаешь натургешихте... Комары лишнюю кровь отвлекают. Ну, как ты сегодня веселилась?

– О, Франц! Совсем хорошо. Danke sehr. Ты знаешь, я была совсем другого мнения о Грюнштейн. Я думала, что он к нам придет что-нибудь кушать, а он сам принес детям бомбошки, принес апотекершнапс и даже раков не кушал. Сейчас видно, что это хороший человек. Свой шнапс пил и наших раков не кушал.

– Ну, вот видишь... Он очень воспитанный человек.

– И Аффе – хороший человек. Он тебе, кажется, подарил три сигары?

– Да, три сигары. На пробу... Он комиссионер гамбургских сигар. Одна сигара в восемь копеек, другая – десять, третья – пятнадцать.

– И ты будешь покупать у него такие дорогие сигары! Фууй, Франц!

– Я, мамахен, его надул. Я не буду у него покупать сигары, а отчего же не взять на пробу? Ему для пробы от торгового дома полагается. Я, мамахен, буду по-прежнему курить мои рижские сигары по три рубля сотня.

– Тебе, Франц, и это дорого. Делай, Франц, экономию на иллюминацию для дня моего рождения и кури сигары в два рубля.

– В два рубля, Амальхен, сигары очень воняют. Ты сама скажешь: «Пфуй, чем это таким гадким пахнет!»

– Я никогда не скажу «пфуй» там, где экономия. А экономия нам нужна для моего рождения. У нас будут гости.

– Мамаша! Хочешь, я тебе скажу одну тайну?

Гельбке остановился перед женой с лейкой в руках и улыбнулся.

– Nun?²⁵ – спросила Амалия Богдановна.

– Грюнштейн тебе хочет сделать сюрприз в день твоего рождения. Он хороший химик. Он приготовит у себя в аптеке фейерверк и привезет тебе в подарок.

– Ist wohl möglich?²⁶ – удивленно воскликнула мадам Гельбке и прибавила: – Грюнштейн – совсем хороший человек. И сестра Аффе Матильда – прекрасная девушка. Я думала, что она будет так много есть за фрюшником, а она очень мало ела. Кроме того, она принесла детям ягод и, когда мы катались на лодке, целый час вязала мой чулок для Фрица. И потом она принесет мне выкройку для платья Густы и подарит моточек красного шелку.

²³ Не правда ли, у нас очень уютно? (нем.)

²⁴ Но эти (нем.).

²⁵ Итак? (нем.)

²⁶ Правда? (нем.)

– Ну, видишь, Амальхен, а ты говорила, что у ней большой рот и большие зубы и что она есть будет много. Ты позови ее, Амальхен, к себе на рождение. Она очень рукодельная девушка и вышьет тебе какой-нибудь сувенир. Позовешь?

– Непременно позову, Франц.

Пауза. Полив цветы, Гельбке поставил в уголок на террасу лейку и подсел к жене.

– Ну что, нравится тебе, как мы сегодня провели день? – спросил он.

– Даже очень. Одно мне не нравится, что ты много пил шнапс и пива. Ты пьян, Франц.

– Мамахен, когда мы были жених и невеста, ты мне сказала, что я могу быть немножко пьян каждое воскресенье.

– Франц! Ты сегодня пьян не немножко. Ты много пьян, ты пьян против нашего условия.

– Я, Амальхен, даже убавил сегодня одну бутылку пива против моей воскресной порции.

– Но зато ты пил много шнапс.

– Ein Kuss, Mamachen. Поцелуй в знак прощения. Я виноват.

Гельбке протянул губы. Мадам Гельбке отвернулась и подставила щеку.

– Целуй сам, я не стану тебя целовать. От тебя несет, как из винного погреба.

– Сегодня воскресенье – ничего не поделаешь, – оправдывался Гельбке, чмокнув жену. – Зато я не кутил один, а был со своей женой, с семейством... Я пил шнапс и пиво, и моя Амалия видела это. Я пьян немножко, но я опять с Амалией, и Амалия около меня. Амалия знает, что я был экономен, – и она спокойна. Мы издержали пустяки, а мы сегодня и гостей у себя принимали, и на лодке катались, и в крокет играли, и свой квартет в Лесном парке пели, и музыку у забора клуба слушали. Ах, вальс Ланера! Что за прелесть этот вальс Ланера!

Гельбке начал напевать.

– Ведь другие, чтобы слушать музыку, за вход в клуб по полтиннику платили, а мы ничего не платили. Рубль экономии, Амальхен.

– Где этот рубль? Я его не вижу.

– Da hast du. Вот. Спрячь в копилку.

Гельбке полез в кошелек, вынул оттуда рубль и подал жене.

– Вот это я люблю, – отвечала она. – Так ты должен всегда поступать.

– Поцелуйчик, мамашенька.

– Хорошо. Но сожми губы, чтобы от тебя вином не пахло.

Мадам Гельбке поцеловала мужа. Куковала где-то кукушка.

– Ты любишь кукушку, Амальхен?

– О да, Франц!

– И все-то у нас есть, Амальхен, – восторгался Гельбке. – Есть хорошенькая дачка, есть садик. Садик, правда, невелик, но зато высок – вон какие четыре сосны стоят.

– И одна береза, – прибавила мадам Гельбке.

– А два куста сирени-то? Ты забыла? И цвела наша сирень! Ты любишь сирень?

– Очень.

– Есть сирень, есть трава, есть клумба, есть цветы, есть кукушка. Не правда ли, gemuthlich?

– Gemuthlich... Franz... – отвечала мадам Гельбке и закатила глаза под лоб.

– Я прочту тебе стихи про кукушку, Амалия.

И Гельбке стал читать немецкие стихи.

– Завтра ты тоже должен убавить из своего бюджета одну бутылку пива, – сказала мадам Гельбке, когда Гельбке кончил читать. – Ты помнишь, ты обещал сделать мне эту экономию потому, что у нас сегодня завтракала фрейлейн Матильда.

– Я помню, помню, мамахен.

Пауза. Гельбке зевнул. Зевнула и мадам Гельбке.

– Ну, что же мы теперь будем делать? – сказал Гельбке. – День и вечер провели прекрасно, заступила ночь.

– Надо спать, – отвечала мадам Гельбке. – Котт, Franz... Пора.
Гельбке не возражал.

Дачные страдальцы

Дачные страдальцы

I

В дачный поезд Финляндской железной дороги, отправляющийся по направлению к Выборгу, входит средних лет бородач в резиновой накидке и форменной фуражке одного из гражданских ведомств. В руках громадный портфель. На пуговицах пиджака висят пакетики с покупками; такие же пакеты в синих и желтых оберточных бумажках торчат из карманов пиджака. Раскланявшись с пассажирами, едущими с ним ежедневно в эти часы, он усаживается у окна на скамейке и, отдуваясь, делает продолжительный звук:

– Фу-у-у.

– Устали? – участливо спрашивает его отставной военный в форменном пальто с поперечными штаб-офицерскими погонами.

– Еще бы не устать-то! Два раза в день четыре способа передвижения испытываешь да вот по эдакой погоде-то, так не угодно ли?.. Ведь сегодня хороший хозяин собаки из дома не выгонит, а я встал в семь часов утра да и иди, иди, как Вечный жид. Беги пехтурой, влезай в таратайку, пересаживайся с таратайки в поезд железной дороги, с железной дороги в конку, от конки до службы опять беги. Да утром-то еще ничего – налегке, без поносок, а вот извольте-ка на обратном пути четыре способа передвижения переменить, пока до дачи-то доберешься! Да что я... Пять способов, а не четыре. Со службы от Исаакиевской площади в Гостиный двор на извозчике. Да еще насилиу нашел! Не везут в дождь, подлецы, меньше полтинника в конец, словно сговорившись. А как за такой конец дать полтинник? Искал за три гривенника. Нашел наконец, поехал. На извозчике – раз, по Гостиному и около него пешком гонял – два, потом в Михайловской в конку сел – три, из конки пересел на железную дорогу – четыре, да от железной дороги до своей дачи в Шувалове придется в таратайке трястись – пять. Вот вы и разочтите, как тут не устать! Каторжный, буквально каторжный.

Опять продолжительное «фу-у-у». Бородач, отличающийся некоторою тучностью, снял с головы форменную фуражку, вынул носовой платок и отер потный лоб и лицо и наконец закурил папироску. Вид его был на самом деле страдальческий. Воротничок сорочки, выглядывающий из-под бороды, и рукавчики смокли, волосы на голове прилипли к вискам.

– И так каждый день? – спросил участливо отставной военный.

– Каждый день, кроме табельных. Начал было субботы урывать – коситься стали.

– Нет, я больше трех раз в неделю не езжу, да и то...

– Вам что! Вам, стало быть, с полгоря. А тут каждый день, каждый день. А вот вчера и сегодня по дождю-то не угодно ли! Ведь на мне только слава, что непромокаемый плащ надет, а с фуражки за шиворот-то все-таки льет.

– А приедете домой, опять будете, поди, работать? Ведь вон с вами какой портфель. Даже, можно сказать, не портфель, а портфелище, – расспрашивал отставной военный.

– Чего-с? Работать? Дома еще работать? – обидчиво и с каким-то азартом воскликнул бородач. – Нет уж, слуга покорный! И каторжникам дается отдых.

– Так зачем же вы такой громадный портфель с бумагами с собой таскаете?

– Да это у меня портфель не с бумагами. Только этого и недоставало, чтоб с бумагами был! Тут у меня закупки разные. Жена у меня каждый день делает поручений всяких бездну. И

того купи, и этого возьми... Ну, пакеты все мелкие, покупаешь и берешь все в разных местах, карманы уж не вмещают – вот я в портфель все и складываю. Нарочно для этого и портфель с собой беру.

– А я думал, с бумагами-и... – протянул отставной военный.

– Бог с ними, с бумагами! Летом и на службе-то бумагами тяжело заниматься. Приедешь в присутствие усталый, измученный, голодный... Через полчаса завтрак. То есть, ежели хотите, то бумаги в портфеле у меня есть, но какие? Газеты, оберточные... Книги жене из библиотеки взял: «Графиня де Монсоро» и роман Мопассана. Есть номер модного журнала для нее. Есть, есть бумаги... – улыбнулся бородач. – А то тут у меня такие вещи: бутылка прованского масла, новые полусапожки маленькому сынишке, удочка для гимназиста, две губки, женин корсет из починки, кусок тесемок, два куса мыла, кое-что из аптекарского магазина, три игры старых карт и копченая камбала. Два последние предмета – уж для себя. Не все же для людей.

– Да, копченая камбала – это прелесть, – проговорил отставной военный и даже сладко проглотил слюну от удовольствия.

– Еще бы не прелесть! – прошамкал бородач и облизнулся от предвкушения блаженства. – Камбала – это восторг что такое! Вот сейчас приеду домой, вонжу в себя хорошую рюмку водки и камбалой... Да когда еще, впрочем, приедешь-то! – махнул он рукой. – Вот еще и не тронулись... Поезд ползет, как черепаха... На Ланской остановка, в Удельной остановка, в Озерках, в Шувалове. А там на таратайке трясись. Эх, жизнь! Только слава, что дача. Не будь жены и детей – никакими коврижками меня на эту дачу никто не заманил бы.

– А повинтить есть с кем? – задал вопрос отставной военный.

– Обязательно. Только это-то и скрашивает несколько дачную жизнь. А уж не будь этого – прямо ложись в гроб и умирай. Теперь мы винтим все больше с соседями. Почтенный такой протопоп один около меня на даче живет.

– Не люблю я с ними. Очень уж осторожно играют.

– Ну, не скажите. Этот ярый, самый ярый... Вот тут от меня несколько подальше дьякон из какого-то казенноучебного заведения живет, так этот, действительно, и думает очень долго, и как-то прижимист... Потом доктор один. Тоже из поповичей. Ну, я, жена – вот нас партия и есть.

– Курс, разумеется, маленький?

– По сотой играем. Вот из-за этого старые карты из клуба и вожу. Не стоит новых-то покупать. Ах, гвоздей обойных забыл купить! – воскликнул бородач и досадливо почесал затылок. – Жена просила гвоздей обойных. И наверное, что-нибудь еще забыл, – продолжал он. – Дай-ка просмотрю список и проверю. Уж очень много заказов. Просила она меня бисквит фунт купить. Ну, этих я умышленно не купил, хотя и знаю, что за это будет мне гонка. Судите сами, как тут бисквиты провезти по эдакому дождю! В булочной положат в корзинку, чуть-чуть прикроют тоненькой бумажкой – ну, и размокнут все. А наверное, и кроме гвоздей, я что-нибудь забыл. Надо проверить.

Бородач достал из бокового кармана записную книжку.

– Вот у меня целая бухгалтерия с собой возится и, наверное, за лето вся будет подписями покрыта, – прибавил он и стал смотреть в книжку. – Банка одеколону куплена, персидский порошок куплен, клей столярный...

– Бросьте. Охота проверять! Ведь уж теперь все равно того, что не куплено, достать нельзя: не выходить же из поезда, – посоветовал отставной военный.

– И то бросить, – сказал бородач и спрятал в карман книжку.

Свисток. Поезд тронулся.

II

Тук, тук, тук – стучит дачный поезд железной дороги, только что вышедший из Петербурга и увозящий домой дачников, побывавших на службе. В поезде все больше мужчины. Мелькает перед ними в окнах слезящееся серое небо, развалившиеся постройки пригорода и огороды, мокрые огороды без конца, на болотистом и никогда не просыхающем грунте которых только и может родиться одна копанная капуста. Виднеются среди гряд то там, то сям пестрые головные платки баб-полольщиц, жалких, мокрых от поливающего их дождя. Какой-то бакенбардист в очках, приютившийся в углу вагона, смотрит в окно на баб и говорит:

– Каково это им целый-то день под дождем!

– Ну, батюшка, в дождь и нам, дачникам, не слаще, – откликается усатый господин в полинялой и скоробленной от дождя серой шляпе и сером пальто-крылатке. – Я сам весь мокрый. Угораздило сегодня утром под такой дождь попасть, пока ехал с дачи на таратайке на поезд, что и посейчас высохнуть не могу. Да и еще предстоит мочиться.

– Разве без зонтика?

– Есть зонтик, но вывернуло его ветром, и принужден был свернуть. После первого числа, получа жалованье, думаю непромокаемое пальто купить.

– Не покупайте. Только одно название, что непромокаемое. А как намокнет, то еще хуже начнет отдавать от себя сырость. Я через него, проклятое, ревматизм получил. Вся штука, что оно воздуху не пропускает. Все ваши испарения остаются у вас на теле и переходят в ваше платье, вы и преете в собственном паре.

– Гм... Это надо принять к сведению, – бормочет бакенбардист в очках, вынимает из кармана сырую газету, разворачивает ее, надевает на нос пенсне поверх очков и начинает читать, но тотчас же закрывает глаза и отдается дремоте.

Он начинает клевать носом, газета выпадает из рук, пенсне сваливается. Он спохватывается, поднимает газету и свертывает ее снова.

– Сморило? – спрашивает его усатый господин.

– Еще бы не сморить, ежели в шесть часов утра поднимаешься!

– Что так рано?

– Иначе мне на службу не поспеть. Ведь таратайки не каждый день попадают утром, а надо за пехтуру рассчитывать. Ох, тяжела ты, шапка дачника! Что я? Для чего я живу на даче? Встанешь спозаранку – бежишь на поезд, вернешься домой раскисший, только бы до постели. Недоспишь, недоешь, недопьешь. Вот сегодня... Целый день мокрый, и высушиться было негде. Вернешься к себе на дачу – опять в сырость.

– Дача-то, поди, с протекцией? – улыбается усач.

– Уж само собой. За сто двадцать пять рублей в лето без протекции не бывает.

– Ну, я и двести плачу, да и то у меня потоки по стене. Ведь дождь-то какой! Три дня без просвета.

– И три недели просвета не увидите.

– Пророчьте, пророчьте! Типун бы вам на язык. А как барометр?

– Что барометр! Все врут барометры. Барометр – инструмент вовсе не для узнавания погоды, а для измерения высоты гор. Плюю я на барометр. А для меня важна примета. Когда начался дождь? 27 июня, в Самсоньев день. А Самсоньев день с дождем, так уж прямо считайте, что дождь на три недели. Это старики говорят.

– Да что вы! – качает головой усач, делая серьезное лицо.

– Верно, верно... – подхватывают сидящие в вагоне. – Ведь вот видите, дождь три дня уже жарит, а барометр как упал третьего дня на 755, так и не двигается.

Начинаются сообщения о дожде.

– У меня лягушки на балконе прыгают. В углах грибы начинают расти.

– Да, да. Ведь не переставая... Я сегодня хотел переменить сапоги. Лезу утром под кровать, достаю – и что же вы думаете? Заплесневели. Моя соломенная шляпа на стене висела и превратилась в кисель.

– Но все-таки вы на шоссе живете, и вам с полгоря. У вас грязно, но можно хотя через дорогу перейти, а я вот на боковой улице живу, так проехать нельзя: кисель. По положенным кирпичам, балансируя как акробаты перебираемся. Прислугу лишний раз в лавочку не протуришь. У меня вот вчера сын-гимназист лимон покупать к чаю – так на ходулях ходил.

– Да ведь на ходулях по глубокой грязи хуже увязнешь.

– И увяз, и свалился. Пришел домой – на человека не похож. С ног до головы в грязи. Вчера мороженник... Завез свою тележку с мороженым, а вытащить-то из грязи не может. Ну, мы, дачники, начали помогать... Мужик он хороший, совестливый... И вывезли.

– И все-таки, господа, все эти невзгоды ничто в сравнении с тем, что вот вы легли в постель, спите, и вдруг вам ночью на лицо с потолка кап, кап, кап, – начинает бакенбардист в очках.

– О, это уж самое обыкновенное дело! Об этом мы даже и не говорим! – восклицают два-три дачника.

– Ну, у меня, господа, пока этого еще нет, – говорит молча сидевший до сих пор чиновник в форме почтового ведомства. – В кухне есть немножко в углу, около трубы, но...

– Ах, видите! В кухне все-таки есть. Но крыша за три дня у вас еще недостаточно намокши, а вот подождите вы еще два дня...

– Но неужели еще будет дождь два дня? – пожимает плечами бакенбардист.

– Говорю вам, что три недели будет, – отвечает усатый господин. – Самсоньев день, все знают, что он значит.

– Боже мой, боже мой! У меня и так сахар отсырел. Вот уж сегодня жестяную коробку везу для него. Табак в папиросы не набивается от сырости.

– Что табак! Я сегодня сапоги еле мог надеть. Не лезут ноги в сырые сапоги, да и что хотите!

– У нас вчера еле плитку могли затопить, – сообщает кто-то. – За ночь столько в трубу дождя налило, что даже из топки текло.

– И вы утверждаете, что такой дождик уж на три недели без перерыва зачастил? – слышен вопрос.

– Ну, перерывы-то маленькие, может быть, и будут, а только уж каждый день надо ждать дождя. Покос у кого теперь и кто скосил траву – беда.

– Ну, что мне покос! Я не трава. А вот на службу-то каждый день в дождь ездить и возвращаться мокрому в сырые комнаты...

– Сырые комнаты – еще не беда. Но жены в дожди бывают уж очень сварливые, – замечает кто-то. – Как дождь, так они на мужей и накидываются. Словно мужа погоду делают.

– Хе-хе-хе... – раздается легонький смех. – Это вы совершенно верно изволили про них заметить.

Поезд подъезжает к Ланской станции и убавляет ход. Раздается свисток. Какой-то пассажир накидывает на себя мокрую резиновую накидку и собирается выходить.

III

На станции Удельной в поезде немножко поредело. Около полусотни навьюченных покупками дачников вышли на платформу, и поезд помчался в Озерки. Прижавшись у окошка, сидит добродушного вида толстенький бакенбардист в сером камлотовом пальто-крылатке и в беспокойстве смотрит на часы.

– Не понимаю, что с часами сделалось, – говорит он соседу, тощему бакенбардисту с длинным носом и в очках, дремлющему перед развернутой газетой. – С утра на восемь минут отстали.

Тот открывает глаза и, не расслышав, о чем ему говорят, отвечает:

– Гм...

– Через это ведь и опоздал.

– Вы про митрополита Климента? Совсем опоздал. Лет на пять надо бы пораньше.

– Что вы, что вы! Я про себя... Я опоздал. Я часом раньше хотел сегодня на дачу приехать, но вот эти проклятые часы.

– Виноват... А я сейчас читал про болгарскую депутацию.

– Я опоздал, я... Подъезжаю к вокзалу, бегу на платформу, а поезд уже отходит. В моих глазах отошел.

– Слышу, слышу. А я думал, вы про болгарскую депутацию.

– Что мне болгарская депутация!

– Понимаю. Но я немножко задремал.

– Меня, батюшка, сейчас в Озерках, на станции, самого болгарская депутация встретит, и начнутся попреки. Обещал я сегодня жене часом раньше приехать, но часы у меня на восемь минут отстали...

– Да, тут иногда одна минута важна...

– И не понимаю, что с ними сделалось. Ходили верно. Утром на станции сверил. Были минута в минуту со станционными часами... Чистить их отдать, так в прошлом году чистил. То-то рассердится моя благоверная!

– Ну что ж, с каждым может случиться.

– Да ведь она с дочерью и другими ребятами всякий день на станцию приходит меня встречать.

– Ну, что ж... ведь это для прогулки. Не встретила и обратно пошла.

– Не думаю. Я полагаю, они и посейчас еще на станции торчат. Скажет: «В дождь заставил выйти из дома!...» А чем я виноват, ежели у меня с часами?..

– Гм... – хрюкает тощий господин в очках.

– И знаете, в эдакую погоду у ней нервы всегда расстроены, и ревматизм... А в это время женщины вообще... Рассердится, непременно рассердится.

– Гм...

– Дело в том, что у нас сегодня вареный сиг к обеду, – продолжает рассказывать толстенький бакенбардист. – Сиг по-польски... Знаете, с маслом и с рублеными яйцами.

– Да, да... Это прелестная штука!

– Ну, а сига надо непременно к известному часу варить, иначе что из него будет? Разварится в кисель.

– Понимаю.

– Ну, так, ежели разобрать, то она и вправе немножко сердиться. Но я-то не виноват.

Тощий бакенбардист перестал уже даже и издавать звук «гм», а только слушал, а толстенький бакенбардист, по мере приближения к станции Озерки, делался все беспокойнее и повторял:

– Часы... Ничего не поделаешь... Часы... По своим часам я приехал вовремя. Мне самому пришлось целый час ждать на станции до этого поезда.

Стали подъезжать к Озеркам. Поезд убавил ход. Толстенький бакенбардист стал собирать свои пакеты, вынул из-под скамейки корзиночку, пахнущую копченым, засунул в карман пальто бутылку, завернутую в бумагу. Вот и платформа, а на ней встречающие поезд. Дамы и девицы с подобранными юбками, подобранными умышленно настолько высоко, чтобы пока-

зять красные, розовые, черные чулки и новую изящную обувь. Толстенький бакенбардист, встав со скамейки, взглянул в окно на платформу и даже в лице изменился.

– Ждут... – проговорил он. – Жена и дочь ждут. А я, как назло, забыл им банку туалетного уксуса купить. Вот попреки-то начнутся!

Он весь съежился и стал выходить из вагона.

– Здравствуй! – раздался на платформе голос жены, рослой сухошавой брюнетки, несколько подкрашенной, с носом горбинкой, в кружевном фаншоне на голове и с мокрым сложенным зонтиком. – Это так-то ты часом раньше приезжаешь? Хороша у нас вареная рыба будет!

– Знаю, знаю, матушка... Но часы... Часы у меня опоздали... То есть не опоздали, а отстали – вот я и опоздал на три минуты. Здравствуй! – заговорил толстенький бакенбардист и, протянув губы, чмокнул подставленную женой щеку.

– Bonjour, рара... – умышленно картавя, крикнула молоденькая девушка-дочка со стреляющими в разные стороны по приехавшим молодым мужчинам глазами и, сложив губы сердечком, чмокнула отца в щеку. – Фу, как от тебя, папа, вином пахнет!

– Да, и я это замечаю, – прибавила маменька. – Вот опоздание-то произошло не из-за часов, а из-за буфета. Мы здесь мокнем под дождем, чтобы тебя встретить, а ты там в буфете прохлаждаешься и бражничаешь! Хорошо. Я тебе это припомню.

– Душечка, какое же тут бражничанье! Опоздал на поезд, сегодня нарочно не завтракал, в расчете, что буду часом раньше обедать. А тут жди целый час до следующего поезда. Перед глазами буфет, раздражающий аппетит...

– Молчи. Довольно... – тихо и сжав зубы, прошипела супруга. – Пойдем.

– Гляжу на буфет, а есть хочу, как крокодил... – продолжал толстенький бакенбардист, следуя за женой и дочерью.

– И ты свой крокодилий аппетит водкой утолял? Не срами себя хотя перед посторонними-то. Ведь нас слушают... – продолжала шипеть жена.

– Да ведь ты же начала... А я... три бутерброда, всего три бутерброда, а водки ежели рюмку выпил, так посуди, какая сегодня сырость!

– А нам ничего сырость? Нам ничего тебя в сырости на платформе лишний час ждать, пока ты там водкой набулдыхив алея?

– Так зачем же вы ждали меня, милая моя, лишний час? Шли бы домой.

– А с сигом я что буду делать? Должна же я, наконец, узнать, приедешь ты хоть на этом-то поезде или не приедешь? Я уж и так маленьких детей с нянькой домой отослала. Лили! Приподними с правого боку платье! У тебя как-то юбка нехорошо свесилась! – обращается маменька к дочке, видя, что в стороне идет молодой человек и бросает косые взоры на дочь. – Вот так... А то ужасно некрасиво... – прибавляет она и продолжает точить мужа: – Сам заказал сига с яйцами, сам просил его не переварить, а сам жрешь водку в буфете и приезжаешь часом позже! Воображаю я, какой теперь сиг будет! Каша.

– Но уверяю тебя!

– Молчать! Шци и кашу тому трескать, кто не умеет держать своего слова, а не сигов под польским соусом. Привез мне туалетного уксусу?

– Сто раз, душечка, прости! Забыл... – ежится толстенький бакенбардист. – Завтра же я тебе...

– Болван! Но, впрочем, я с тобой дома поговорю! Идите же вперед! Что вы топчетесь!

Муж послушно засеменил ногами. Жена и дочь следовали сзади.

IV

Около семи часов вечера. Семенит на дворе мелкий дождь. Небо хмуро, серо, неприветливо и нагоняет хандру. В маленькой дачке в Шувалове в балконной комнате висит на дверях распяленное мокрое пальто и обтекает, в углу стоит раскрытый зонт, поставленный для просушки, и от него идет целый поток дождевой воды по полу. Отец семейства, только что сейчас вернувшийся со службы на дачу, – худой, желтый, геморроидального вида мужчина лет пятидесяти, обедает. Он без сюртука и без жилета, в ночной рубашке и в туфлях ест суп. Против него сидит жена в блузе, с подвязанной щекой. Тут же дочь-подросток с книгой и два мальчика в блузах. Один держит в руках мопса, а другой сидит перед стеклянной банкой, в которой копошатся гусеницы на листьях. Ест один только отец семейства, другие присутствуют ради компании.

– И ведь надо же так случиться, что от станции ни одной таратайки!.. – говорит он. – А дождь как из ведра. Стояли четыре таратайки, но кто первый из поезда выскочил, тот и расхватал их, – говорит он.

– Ну, а ты зевай! Чего ж ты-то раньше не выскочил? Ты всегда разиня, – откликается жена.

– В заднем вагоне сидел. А дождь-то какой! И всю дорогу садил! Иду по дороге, зонтиком уже не себя закрываю, а картонку с твоей бархатной кофточкой... И насквозь...

– Ну, да ведь не размок сам-то. Теперь переоделся в сухое.

– Так-то оно так, но какова жизнь дачная.

– А кто виноват? При нынешнем дешевом тарифе я отлично бы на дачные деньги съездила с детьми на Кавказ и полечилась бы там в Железноводске.

– Но жизнь на два дома... Ты знаешь мои ресурсы...

– Ешь, ешь... Слышали мы эту песню.

– Ужасно как суп салом пахнет и совсем холодный.

– Ну, да ведь уже с трех часов в духовой печке стоит, а теперь семь скоро.

– Давайте что-нибудь другое. Что у вас еще есть?

– Бифштекс тебе оставлен. То есть не бифштекс, а были у нас так кусочки говядины с бобами.

– Сиречь подошва? Знаю...

– Тогда ешь в трактире. Мы не обязаны тебя ждать до семи часов вечера. Мы есть хотим. У нас нет завтрака. Вместо завтрака у нас кофе с булками.

Подали бифштекс.

– Фу, ножик даже не берет! Вот до чего засохло! – говорит отец семейства. – Этим бифштексом ежели швырнуть в человека, то ушибить можно.

– Ничем ты не доволен. Полей его подливкой – вот он и размякнет.

– Да тут подливки-то нет, а просто сало.

– Говорю тебе, с трех часов в духовой печке стоит. Вон огурцы есть. Ешь.

– Что мне огурцы! Ведь я не корова. Один съел и больше не могу.

– Ну, вареной колбасы за чаем поешь. Через два часа чай. Сосисок тебе сварю на самоваре.

– Есть у вас еще что-нибудь?

– Был рисовый каравай, но тебе ничего не осталось. Дети весь съели.

– Ну, и на том спасибо. Сеня! Принеси мой портсигар! Да дай газету, – обратился отец семейства к сыну, вставая из-за стола.

– Спать сейчас завалишься? – спросила жена.

– Да что ж теперь в эдакий дождь делать! Устал как собака. Прилягу до чаю. Ведь встал сегодня в шесть часов утра. Тебе хорошо, коли ты спишь до девяти.

– Не оттого ты устал, что в шесть часов встал, а оттого, что винтил вчера у Марка Лаврентьевича до часу ночи.

– Матушка, уж надо же мне иметь хоть какое-нибудь развлечение. А то я, как дилижансовая лошадь, каждый день на службу и со службы... Да весь день занят, да разные неприятности... Если уж не винтить раза три в неделю...

– И наверное, проиграл вчера?

– Рубль двадцать восемь.

– Ну вот видишь! А жене с ребятами жалеешь дать на кавказскую поездку.

– Ах ты господи! Вот глупая-то! Да разве на рубль двадцать восемь копеек вы вчетвером на Кавказ проедете?

– Ты умный. Ты рассчитай прежде, сколько ты в год-то проиграешь!

Но отец семейства уже перебрался в другую комнату, лежал на клеенчатом диване со скрипучими ножками и с наслаждением попухивал папиросой, развернув перед своим носом газету. Поднятые за день нервы начали успокаиваться, в глазах мелькали газетные заглавия, болгарская депутация, абиссинское посольство, доктор Молов, Жюдик, митрополит Климент, Мальчик-с-Пальчик, «Монплеизр» и т. д. В глазах зарябило, потом они начали слипаться. Газета выпала из рук, потухший окурочок папиросы вывалился изо рта, и началось полное забытие всех дачных страданий. Он заснул.

Вдруг наверху, во втором этаже, послышались слабые звуки расстроенного рояля. Немного погодя эти слабые звуки перешли в громкие раскатистые звуки гаммы. Затем женский визгливый голос запел сольфеджи. Отец семейства проснулся от очаровавшего на четверть часа его сна, выругался, сказав: «Опять эта крашенная выдра ликовать начала», и перевернулся на другой бок. Но сольфеджи раздавались все громче и громче. В довершение всего, на балконе завыл его собственный мопс, вздумав подпевать виртуозке.

– Анна Сергеевна! – крикнул отец семейства жене. – Успокойте хоть Бобку-то! Ну чего он воет!

– Да тут человек завоет, а не только что собака! – откликнулась супруга. – Третий раз сегодня эта проклятая консерваторка свои чертовы рулады распевает.

– Но все-таки погладьте его как-нибудь.

– Ах, у меня у самой зубы болят! Я сама готова завывать.

Мопс продолжал голосить. Его воем соблазнилась большая дворовая собака, завывала басом, и началось трио. Консерваторка, чтобы заглушить собачий вой, надсажалась еще больше. Отец семейства не выдержал, вскочил с дивана и в носках выскочил на террасу, и закричал на верхний балкон, находящийся над террасой:

– Милостивая государыня госпожа музыкантша! Нельзя ли прекратить ваше пение и дать людям покой!

Ответа не последовало. Музыкантша была увлечена и не слыхала за пением его возгласа. Мопс продолжал выть, задрав голову кверху. Отец семейства пнул его ногой и закричал еще громче:

– Эй, песенница! Дудка! Рулада! Нельзя ли бросить ваше ликование!

– Зачем ты бедного Бобку-то пихнул? – завизжала жена.

– Певица! Виртуозка, черт тебя дери!

Рояль умолк. Пение кончилось.

– Что такое? Что вам? – послышался с верхнего балкона женский голос.

– Нельзя ли пощадить вашим пением! – понизил свой голос отец семейства.

– То есть вы хотите, чтобы я прекратила петь? Но ведь это мой хлеб, я учусь.

– Кто таким манером хочет себе хлеб добывать, тот должен добывать его в лесу, а не в дощатой даче около соседей. Помилуйте, собаки даже воют.

– Так вы лучше отколотите ваших собак. Я сама на вас в претензии. Собаки мне мешают учиться. А вы нарочно их поддразниваете.

– Ну, уж это ты врешь! – завизжала жена отца семейства.

– Как вы смеете мне «ты» говорить! Нахалка! Я вот вашу собаку кипятком отпарю, если она будет мне мешать петь.

– Ну, это-то уж вы ах оставьте! За это я вас на казенные хлеба упрячу! – закричал отец семейства.

– Как? Меня? Генеральскую дочь? Дочь генерал-майора? Невежа! Грубиян!

И началась перепалка. Верхняя жилица и нижняя семья переругивались добрые десять минут. Наконец наверху раздался плач, и мало-помалу все утихло. Отец семейства сидел на балконе и тяжело вздыхал.

– И это дачный покой, черт его возьми! – говорил он.

V

– Барин! А барин! Вставайте! – стонет утром около дверей спальни горничная и стучит половой щеткой о дверной косяк.

– Сейчас... – невнятно откликается из-за закрытой двери мужской голос.

Горничная начинает мести пол, передвигает мебель, умышленно хлопает балконную дверь, но в спальне тихо. Барин и не думает вставать.

– Барин! А барин! Вставайте! Пора уж ведь... – опять начинает горничная.

– Встаю, встаю, – слышится из-за двери. – О-о-охо-хо!

В спальне опять тихо. Горничная снова приступает:

– Барин! Алексей Павлыч! Ведь опять проспите и будете сердиться! – кричит она.

– О-хо-хо-хо! Который час?

– Да скоро уж семь.

– Неужели? А самовар готов?

– Давно на столе.

– О-хо-хо-хо.

И опять в спальне умолкает. Часы бьют семь. Горничная роняет стул и кричит в спальню:

– Барин! На службу опоздаете! Ведь уж восьмой час. Барыня! Анна Алексеевна! Да побудите хоть вы их. Они вас все-таки хоть испугаются.

– А? Что? Кто там? – спрашивает из спальни женский голос.

– Я... я, Матрена. Бужу барина, но они никак не встают, а потом браниться будут, что их не разбудили.

– Алексей Павлыч! Да что ж ты спишь? Ведь тебе ехать пора! – будит уж в свою очередь жена мужа.

– Третий раз их бужу и все без толку, – присоединяет свой голос горничная. – А потом меня же ругать будут, что не разбудила.

– Вставай, Алексей Павлыч, что это, в самом деле, не можешь проснуться!

– Встаю, встаю! О-хо-хо-хо-хо! Боже мой, как голова тяжела!

– Меньше бы по гостям шлялся. Шутка ли, вчера до двух часов у Ивана Егорыча... – пилит его жена.

– Да ведь уж только и утешение в эту погоду, что повинтить. Матрена! Какая сегодня погода? – кричит он горничной. – Кажется, дождь?

– Дождь как из ведра, и только сейчас немножко перестал.

– О господи! Вот наказание-то! Неделю целую льет.

– Да уж в Самсоньев день начался, так смело ждите на три недели.

– Типун бы тебе на язык.

– Да ведь уж примета такая. Я-то тут при чем? У меня вон даже над кроватью сегодня ночью с потолка капало. Я уж передвигалась и таз под капель подставила. Сенокос-то теперь у кого, так как плачутся. Не замолили Самсонья-батюшку.

Всклокоченная голова барина выглядывает из-за двери и берет стоящие у двери только что вычищенные сапоги.

– Не просушила сапог-то, – бормочет он.

– Да на чем же просушить-то? Ночью пришли из гостей. Ведь уж плита была остывши.

– Я говорила тебе вчера, что не следовало на этот проклятый винт шляться, – шпигует барина жена.

– Слышали уж, слышали! – откликается тот. – Матрена! Пальто-то мое непромокаемое высохло ли?

– Откуда же ему высохнуть! – говорит горничная.

– О, жизнь треклятая! Во все мокрое должен одеваться. Анна Алексеевна! Смотри-ка, сорочка-то крахмальная... Вся, вся отсырела... Ну, и сапоги на ногу не лезут!

Барин кряхтит.

– Надень другие... – советует барыня.

– Другие прорвавшись. А новые проклятый сапожник третью неделю сделать не может. Опять кряхтение.

– Надел... наконец, – бормочет он. – Батюшки! Да и платье совсем сырое! – Матрена! Заварила мне чай?

– Даже перекипел уж. Вставайте, барин. Половина восьмого. Соседский барин побежал уж на железную дорогу.

– Налей мне стакан чаю, и пусть остынет, а то я обжигаться буду.

Слышен всплеск воды. Барин умывается. Горничная продолжает убирать комнату и сквозь дверь рассказывает:

– Соседский студент поехал давеча на велосипеде и вернулся, а коня в поводу ведет. Завяз со своей машиной у нас в улице. Так и не мог выехать. Грязища – страсть. Кухарка пошла за молоком в калошах, стала переходить улицу и калоши в грязи завязила. Вернулась с молоком и калоши в руке несет.

– Господи! А мне полторы версты до железной дороги шлепать по эдакой грязи! Когда же это все кончится! – вздыхает тяжело барин. – Аннинька! Ты не встанешь меня проводить? – спрашивает он жену.

– Зачем же я буду вставать в эдакую погоду? Уйдешь без проводов, – отвечает жена. – Ты вот что... Ты зайди к портнихе и привези Лизино платье.

– Матушка, хоть на время ненастья-то освободите меня от поносок!

– Да ты никак с ума сошел! Девушка и так вся отрепалась. Прикармливаем медицинского студента, а ей не в чем порядочном даже показаться. Непременно сегодня платье привези. Оно уже третьего дня было готово. Студент хороший, выпускной. К Рождеству курс кончает. Одними варениками к ужину и сосисками с капустой ничего не возьмешь. Надо и девушку лицом показать.

– Пустое это дело, кажется.

– Как пустое? Лиза ему уже грудь к малороссийской рубашке гладью вышила.

– Да она-то вышила, а он-то...

– Ну, вот его и надо ловить. Да вот еще что... Привези мне двадцать фунтов сахарного песку для варенья.

– О господи!

– Чего ты: о господи! Здесь песок две копейки на фунт дороже. Сам крикаешь все, что расходы велики, а чуть я про экономию – сейчас и «о господи!». Для студента и варенье-то варить буду. Он говорит, что варенье из морошки очень любит. Да зайди в аптекарский магазин и купи три палки ванили.

– Бог мой! Вицмундир-то у меня совсем сырой!

– А ты зачем его у окошка на стул развесил? У нас во время дождя всегда брызжет.

– Весь я сырой, весь... Все на мне сырое. Вот когда ревматизм-то схватишь!

Барин вышел из спальни в столовую, подошел к столу и жадно стал глотать остывший в стакане чай. Выпив полстакана, он разбавил его горячим и присел к столу, попыхивая папироской.

– Слава богу, хоть дождь-то немножко перестал, – сказал он горничной, которая чистила в это время щеткой его форменную фуражку.

– Перестать-то перестал, но вон с той стороны опять туча заходит.

Барин сидел и торопливо глотал второй стакан чаю. На балконе стоял дворник и заглядывал в стеклянную дверь.

– Что тебе? – крикнул ему барин.

– С добрым утром, – поклонился тот через стекло. – Чай да сахар... За дачу сегодня остальные не отдадите?

– Вон! И без тебя тошно. Нашел время, когда приходить! Я сижу и кляню дачу, а он за деньгами лезет!

Дворник исчез.

– Матрена! Пальто.

Барин облачился в мокрое, так называемое непромокаемое пальто, надел фуражку и взял в руки портфель.

– Прощай, душечка! – крикнул он жене в спальню.

– Прощай! Да не забудь платье-то Лизе привезти!

– Хорошо, хорошо!

Он вышел на балкон. На дворе накрапывал дождь.

– Опять! – воскликнул он. – Да будет ли конец этому дождю!

– На три недели, барин... Уж такая это примета, ежели в Самсоньев день, – говорила ему вслед горничная, запирая балконную дверь.

– Шагай, Алексей Павлыч, шагай! Мокни под дождем! – иронически ободрял он самого себя, выйдя на улицу, и зашагал по липкой, скользкой грязи, заставлявшей разъезжаться ноги.

Дождь усиливался и наконец хлынул как из ведра.

VI

Звонил уже третий звонок, когда в дачный поезд ввалился пожилой дачник в шляпе котелком, с реденькой бородкой и, разумеется, весь нагруженный закупками. Он был запыхавшись, отдувался, кряхтел и проходил по вагону, отыскивая себе место и кивая направо и налево знакомым по поезду пассажирам, едущим с ним всегда вместе.

– Чуть-чуть не опоздал, – проговорил он с легкой улыбкой на потном лице, плюхаясь на незанятое место, и стал разгружаться, вынимая из оттопыренных карманов пакетики. – Еще минуту, даже полминуты, и опоздал бы... А опоздал – ну, и жди лишний час на вокзале следующего поезда. А дома перебранка тогда, попреки, что суп перекипел, котлеты пережарились, – продолжал он.

– По-настоящему, каждому из нас, семейному дачнику, следовало бы завести моду отправляться в город с корзинками или с плетеными мешками, вот с такими, с какими кухарки ходят обыкновенно в лавки за провизией, – сказал седой бакенбардист строго чиновничьего

типа с гладко выбритым синим подбородком и верхней губой и поправил Владимирский крест у себя на шее. – А в эти мешки или корзинки и складывать все закупки. А то, того и гляди, растеряешь. Вчера вон у меня были в городе закупки местях в семи... И осетрина, и чулки шелковые... буравчик для чего-то жене понадобился... Ну, одним словом, мелочь... Купил я дочери пару перчаток гри-де-перль цвета, номер пять три четверти, сунул куда-то – и потерял. А может быть, и не сунул, а забыл где-нибудь, потому после перчаточного магазина я заходил еще в кондитерскую Валле за бисквитами и в оптический магазин, где был отдан в починку женин лорнет на длинной ручке. Забыл, а дома неприятность... Дочери не в чем идти на танцевальный вечер в Озерковский сад. Вышла целая история. А будь-ка у меня такая корзинка, как у кухарок, я и складывал бы в нее и осетрину, и перчатки, и шелковые чулки... Все в одном месте. Это куда удобнее!

Дачник в шляпе котелком слушал и все еще продолжал тяжело дышать и отдувался. Лицо его было красно и полосами, как у зебры. Потоки пота со лба протекли по пыльным щекам и оставили полосы. Он вынул из кармана платок и стал отираться.

– Ужас, как упарился, торопясь на поезд!.. – проговорил он. – Ну, да уж теперь, слава богу, что попал. Да, жизнь наша дачная – не жизнь, а каторга! – прибавил он с тяжелым вздохом.

– Не красна-с, не красна-с... И я скажу, что не красна наша жизнь... – пробормотал дачник в бакенбардах и с крестом на шее. – Эти ежедневные катания в город и из города, целый день на службе, возвращение домой наподобие вьючного верблюда... А чуть что-нибудь забыл – дома всякое лыко в строку. Ведь вот я уверен, что вы чуть не опоздали на поезд из-за покупок. Покупки и поручения из дома – это одна из казней египетских.

Дачник в шляпе котелком махнул рукой.

– Покупки – это что! – сказал он. – К ним мы уже привыкли. Знаете, как привыкает извозчикья лошадь. Каждый день гонка, каждый день. Ну, и втянешься. А есть другая казнь египетская, которая куда почище будет! Я говорю об отыскании новой зимней квартиры.

– А вы ищите себе зимнюю квартиру? – быстро спросил дачник с крестом на шее. – Да, это штука!

– В том-то и дело, что третий день забегаю на дворы, шагаю по лестницам вверх и вниз и до сих пор без всякого результата.

– Да, да... Я сам испытываю нынче это удовольствие, – откликнулся усатый дачник в очках. – Действительно, это занятие способно с ума свести. Три-четыре лестницы измеряешь и уж готов бросаться на людей и кусаться.

– Ну, а я насчет этого обеспечен, – отвечал дачник с крестом на шее. – Я живу на казенной квартире.

– Это – рай-с, это прямо рай! – воскликнул дачник в шляпе котелком. – Казенная квартира – рай. Ежели она подчас мала и неудобна – все-таки миришься с ней потому, что она даровая и другой взять негде. А у меня вот срок старой квартиры кончается 15 июля, семейство наше на одного человека прибавилось – ну, жена и говорит: «Ищи новую квартиру, чтобы на одну комнату больше была». Ну, вот и ищу теперь, и лазаю в четвертые этажи. А знаете ли вы, что это значит – найти мало-мальски сносную квартиру и по цене, и чтобы всем был угол!

– Да как не знать! Ведь в Петербурге живем... – послышалось со всех сторон.

– Справочная контора... – заметил кто-то.

– Ах, справочные конторы такие вам адреса дадут, по которым вы только даром проедетесь! Я брал – все у них шиворот-навыворот перепутано: и цены, и число комнат. А то приедешь в дом – квартира уж снята. А деньги за услугу берут хорошие. Хороша услуга!

– Да, да... Повесить их мало! – слышится откуда-то. – Я тоже искал квартиру по конторским адресам – даром деньги...

– А уж кого повесить, так это швейцаров и дворников. Ах, подлецы! – подхватил дачник в шляпе котелком. – Подходишь к подъезду. Сидит здоровенный швейцар, которому бы только камни ворочать и за плугом идти, на подъезде и играет с другим каким-то лентяем в шашки. Спрашиваешь: «Здесь квартира в пять комнат? По этой лестнице?» Отвечает: «Здесь, здесь, пожалуйста. Всякие есть», а сам не глядит на тебя и продолжает играть в шашки. «Да мне всяких-то не надо, – говорю ему, – а требуется именно в пять комнат и с ванной». – «У нас все с ванной», а сам опять ни с места, а шапки своей дурацкой с позументом не ломает. «В каком этаже? – задаю вопрос. – Выше третьего, так мне и не надо». – «Вот, вот в третьем-то и есть». – «Так покажи». – «Сию минуту, господин, дайте кончить». Наконец кончает, ведет вас по лестнице и оказывается, что квартира в пятом этаже вместо третьего и в ней всего только четыре комнаты вместо пяти, а вы даром прошагали на каланчу. Плюнешь и обругаешь его, а он отвечает вам: «Недослышал, ну, что ж, коли недослышал, – да еще прибавит: – А ругаться, барин, нельзя, я унтер-офицер». А дворники? Эти еще хуже...

– Хуже-то хуже, но на них все-таки не так противно смотреть, потому что они рабочие люди. Улицу и двор метут и поливают, дрова носят, одним словом, труженики, – заметил кто-то. – А ведь швейцар – прямо дармод. Вот этакое мурло, ничего кроме своей лестницы не знает, да и ту в летние месяцы перестает мести. Прямо дармод. А дворники...

– Ну, и дворники хороши! – подхватывает шляпа котелком. – Тоже всех на одну осину со швейцаром. Просишь показать квартиру в большом доме – младшие дворники ничего не знают, а старший в портерной сидит. Посылаешь в портерную, ждешь, является он пьяный. Спрашиваешь ты цену осмотренной тобой квартиры, и оказывается, что она уже сдана и только забыли объявление с ворот снять. А ты уж смерил два раза лестницу. Что вам остается больше, как ругаться?

– Каторга, каторга! – произносит кто-то в поезде. – Хорошо, что мне нынче не придется себе зимней квартиры искать.

– Но ведь что затрудняет? – продолжает шляпа котелком. – Это то, что зимнюю квартиру приходится тебе переменять, когда ты живешь на даче. И без того-то ты уж измучен дачными ежедневными путешествиями и по конкам, и на извозчиках, и на пароходах, и только разве на волах, ослах и верблюдах не едешь, а тут еще странствуй по дворам и лестницам. Ведь вот я теперь до того измучен, что хуже всякого почтальона. Ну, какая для меня радость на даче? Приеду, кусок проглочу и свалюсь на диван от усталости.

Шляпа котелком умолкла и поникла головой. Поезд мчался.

VII

Вот и Шувалово. Поезд уменьшил ход и тихо подошел к платформе. Пожилой человек в шляпе котелком взглянул из окна на платформу и сказал:

– Вон и мои меня ждут.

– У вас две дочери? – спросил его старик с Владимиром на шее, увидав, что в окно заглядывают две девушки в малороссийских костюмах.

– Ох, четыре! Четыре штуки, государь мой! Вот эти две уж на возрасте. Из-за них-то и меняю квартиру. А то две маленькие. Да сын-гимназист на придачу. Мое почтение-с... До свиданья... До завтра...

И, забрав в руки пакеты, пожилой человек в шляпе котелком стал выходить на платформу. Две дочери в малороссийских костюмах и жена в кружевной косынке на голове и в какой-то рыжей накидке на плечах тотчас же бросились к нему.

– Бонжур, папа! Ты нашел квартиру? – воскликнули дочери, целуя его.

– Здравствуй! Ну что, нашел квартиру? – спрашивала жена, подставляя ему щеку.

– Матушки мои, да ведь это не так легко, как вы думаете! Это не тяп-ляп да и клетка. Сегодня я опять пробежал часа полтора по дворам, но ведь больше я не могу. У меня все-таки служба!

– Ну, вот ты какой! – фыркнула старшая дочь. – А мы уж думали, что завтра поедем все смотреть и решать.

– Главное, нам нужно знать, будет камин в нашей комнате или не будет, потому мы с Катей экран хотим вышивать.

– В самом деле, Кузьма Николаевич, наметил ты что-нибудь подходящее? – задала вопрос жена.

– Решительно ничего, хотя сегодня обегал всю Надеждинскую улицу.

– Фу, какой вахлак! Третий день ищешь, и ничего!

– Может быть, и неделю проищу и то ничего не найду. Пойди-ка ты, сунься.

– И наверное бы нашла. Вот вся статья, что мне и отлучиться из дому нельзя. Вообрази, мы без горничной!

– Что такое стряслось? – спросил муж.

– Сегодня отказалась от места и переезжает на место на дачу в Красное Село. Солдат сманил. Вчера она отпросилась со двора, ездила в город, виделась с ним – вот он и ставит ее на место вблизи лагерей, где сам стоит, чтоб чаще видеться с ней. Нянька говорит, что она давно уже искала себе места поблизости к лагерям, публиковалась в газетах, выбирала из газет адреса, где ищут горничную. Ну, вот и нашла, что искала.

– Не сама, маменька, она нашла, а ей солдат ее нашел. Я же ведь говорила вам, что она мне рассказывала, – перебивает мать старшая дочь.

– Ну, ну, молчи! Тебе об этом и знать не нужно.

– Да что ж тут такого эдакого? В сентябре они женятся. В сентябре у них свадьба. 30 августа он выходит в бессрочный отпуск.

– Откуда ты это все знаешь! – всплескивает руками мать.

– Ах, боже мой! Да мы ей и письма-то к солдату писали. Ведь она безграмотная, – рассказывает младшая дочь. – Сами писали и от него письма читали.

– Кузьма Николаевич, слышишь? – спрашивает мать, идя рядом с отцом. – Вот взять бы хорошую орясину...

– А уж это ты распорядись сама. Мне не до этого. У меня и так голова кругом, – отвечает отец семейства, смотря на все посоловелыми глазами. – Это искание квартиры, эти лестницы, эти дворники, эти швейцары измучили меня и истерзали до того, что вот скажи мне, что вместо горничной наша Катка сама переезжает к солдату в Красное Село, я и то не возмущусь, и то руками не разведу – вот я до чего устал и измаялся.

– Боже, и это говорит отец!

– Да-с, отец, который живет хуже, чем собачьей жизнью, благодаря этой ежедневной езде в город и из города, благодаря отыскиванию квартиры, путешествию по лестницам и прочая и прочая... Девчонки у тебя на руках и делай ты с ними, что хочешь, а меня оставь в покое.

– Позвольте, мамаша, да что же тут такого постыдного – знать, что наша горничная Маша выходит замуж за солдата? – начинает старшая дочь.

– Оставь... замолчи... Входи в калитку... Разве не видишь, что наши соседи сидят за воротами на скамейке и слушают.

Семейство подошло уже к своей даче, и все поодиночке входили в калитку палисадника.

На террасе был накрыт обеденный стол. Красивая горничная хотела снять с барина пальто, но он замахнулся на нее и крикнул:

– Пошла прочь! Ничего мне от тебя не надо! Иди к своему солдату...

– Ах, барин, да за что же тут сердиться! Рыба ищет, где глубже, а человек, где ему лучше. Живи вы на даче не в Шувалове, а в Красном Селе или даже близ Красного Села, в Стрельне, что ли, и никогда я от вас не отошла бы, – отвечала горничная.

– Переехать для тебя еще не прикажешь ли! Не смей служить у стола! Не желаю я тебя видеть. Нянька нам послужит. И за это няньке ситцу хорошего на платье. Тебе хотел подарить за раннее вставанье на даче и ставленье для меня самовара, а уж теперь ничего не получишь.

Горничная удалилась. Все семейство уселось за стол. Служила нянька. Подали ботвинью. Мать налила тарелку ботвиньи и, подавая ее отцу, сказала:

– И неужели за эти три дня ты не нашел даже мало-мальски подходящей для нас квартиры?

– Решительно не нашел. Есть квартиры, но или непомерно дороги, или ход скверный, или ход хороший, но в квартиру надо лезть, как на колокольню.

– Вахлак, совсем вахлак! Рохля... О, ведь я знаю тебя!

– А ежели так будешь ругаться, то я вот возьму да и заключу опять на год контракт у старого хозяина на старую квартиру, так, по крайности, не перевозиться, – строго сказал отец. – Мне она не мала, я ею доволен, а это вам она мала стала.

– Ну, барин, ежели мы на зиму останемся при той же детской, что теперь, так ищите себе няньку. – Уйду и я от вас, как горничная уходит, – проговорила служившая у стола нянька. – Помилуйте, там повернуться ведь негде.

– Слышишь, слышишь, что она говорит! – воскликнула жена.

– Да ведь это также и к тебе относится.

– И никто у вас жить не будет, – продолжала нянька, – потому у вас даже людской комнаты нет, где бы прислуга могла своего гостя принять, а без гостей нынче никто не живет. Кухарка в кухне около плиты на кровати жарится, горничная – в коридоре...

– Молчать! Что это, в самом деле, с вами сладу нет! – закричал отец семейства. – Жена поедом ест, дочери гложут, и, уж наконец, даже нянька напустилась!

– Кричи, кричи... – иронически сказала ему супруга. – Ты только кричишь, а соседи слышат и разнесут по всей улице, что у нас драка была.

Отец семейства умолк, стал хлебать ботвинью, но ему не елось. Он отодвинул от себя тарелку и проговорил:

– Собачья жизнь... До того устал, что даже никакого аппетита нет, а ведь сегодня даже не завтракал, потому что во время завтрака квартиры смотрел.

VIII

Обед продолжался.

За вторым блюдом квартирное горе несколько стушеввалось. Отец семейства порешил с завтрашнего дня поручить предварительное отыскивание квартиры канцелярскому сторожу и уж по его следам делать осмотр более подходящих квартир. Более хладнокровно отнеслись и к неприятности, что нужно искать новую горничную. Жена даже говорила:

– С одной стороны, я даже и рада, что она уходит. Щетками стала белье тонкое стирать и уж многое что перепортила.

– Да, да... Воротнички у меня у сорочек то и дело в усах.

– Вот, вот. Сорочки-то она щеткой и рвет и, главным образом, воротнички, – подтвердила жена. – Я несколько раз ей говорила, чтобы она не смела этого делать, но она не слушается. Ты вот что... Ты завтра зайди в контору для найма прислуги... – обратилась она к мужу.

– Опять я? Да что я за выючная лошадь такая! – воскликнул тот. – Я и квартиру ищи, я и закупки в городе делай и на себе тащи и, наконец, уж прислугу нанимай!

– Да ведь это всего на полчаса. Ты зайдешь, уговоришься, дашь на проезд сюда.

– Не могу я, не могу! Здесь полчаса, там полчаса... Помилуй, матушка, ведь я на службе... Мне служить надо. Я чиновник. Этого только не хватало, чтоб я прислугу нанимал! Это дело хозяйки.

– Да никто тебя не заставляет нанимать прислугу. А ты предварительно переговоришь с двумя, дашь им на проезд сюда на дачу, и уж здесь я найму окончательно. Ну, двум дай на проезд и пришли мне их сюда на выбор.

– Нет, нет, нет! Можешь сама подняться и съездить в Петербург.

– Я варенье теперь варю. Мне некогда.

– Варенье можно на день и отложить. Помилуй, у меня и от квартиры-то голова кругом идет, а тут еще прислугу ищи...

– Да ведь уж так все равно будешь в городе, а мне нужно нарочно ехать.

– И съезди. Варенье отваришь и поезжай. Варенье варить – час-полтора, а потом все равно ничего не делаешь.

– Как не делаю ничего? Ты знаешь, я экономию навожу, да еще экономию-то какую! Вот уже три дня, как я покупаю говядину по пятнадцати копеек за фунт, а кухарка наша покупала по семнадцати. Кухарка в мясной лавке, а я у странствующего мясника с телеги. Привадила к себе мясника с возом и покупаю. Две копейки на фунт... Это ведь расчет. Кроме того, у него в возу и зелень, и молодой картофель. Кухарка до сих пор молодой картофель платила за восьмушку тридцать копеек, а я у мясника с возу за полтинник полчетверика купила. Кухарка сердится, но мне плевать на нее. Зачем мы будем переплачивать?

– И все-таки я прислугу нанимать не пойду, – стоял на своем муж.

– Пойдешь. Помилуй, ведь, покупая сама провизию, я семь-восемь рублей в месяц экономии сделаю.

– Черт с ней, с экономией, но ведь нужен же мне покой. И наконец, тебе придется уехать только на один день.

– Да ведь и тебе ничего не значит один какой-нибудь день пожертвовать лишним полчаса.

– В том-то и дело, что у меня их нет, лишних-то. Не могу я, не могу, и не неволь ты меня, пожалуйста! Дай ты мне с квартирным-то вопросом кончить. Ведь уж это и так обуза. Пожалей ты меня.

Подали последнее блюдо, манную кашу. Это последнее блюдо принесла на стол уж не нянька, а сама кухарка, плотная, средних лет женщина с красным лицом и заплывшими жиром глазами. Она остановилась у дверного косяка и начала:

– Увольте меня, барин и барыня, завтра...

– Как уволить? Куда? – воскликнула барыня.

– Да так... Не могу я у вас больше жить. Завтра, пожалуй, я у вас еще денек поживу, а уж послезавтра увольте.

– Да что ты взбеленилась, что ли? Или какая-нибудь тебя бешеная муха укусила? – спросил барин и поперхнулся ложкой каши.

– Никакая нас муха не кусала, потому ко всяким мухам мы привыкли. А только, пожалуйста, увольте.

– Да что с тобой? Ведь ты была довольна нами, – сказала барыня.

– Была довольна, пока старые порядки были, а при новых порядках я не согласна.

– Да что такое? Что такое с тобой стряслось? Какие такие старые и новые порядки?

– Желаете, чтобы я сказала начистоту? Извольте. Уж откровенность так откровенность. Вот вы стали сами говядину у возящего мясника покупать, а это уж совсем для кухарки не модель.

– Каково! – воскликнула барыня. – Ну, я так и знала! Да ведь пойми ты, я пятнадцать-двадцать копеек в день экономии имею.

– Ну, ищите себе другую кухарку. Помилуйте, сигов и лососину барин из города с садка привозит. Была говядина у меня – и ту вы отняли. А уж сегодня картофель отняли. Благодарю покорно. Что же кухарке-то очистится? Кухарка не может без халтуры жить.

– Ах, вот что! Стало быть, ты раньше, покупая сама, воровала у меня?

Кухарка сверкнула жирными глазами.

– Никогда кухарка не ворует-с, так вы это и знайте. Кухарка от мясника халтуру получает, положение... раз в месяц. Я и получала.

– Да ведь это из наших же денег ты получала.

– Ну, уж это наше дело, а я не согласна... Ищите себе...

– Позволь, позволь... – вставил свое слово барин. – Да ведь, может быть, и этот мясник, что в возу ездит, дает тебе халтуру.

– Был уж у меня с ним разговор, барин. Нет, нет, я не согласна...

– Сколько же ты получала от мясника?

Кухарка позамялась и отвечала:

– Ну, мясник мне давал рубль в месяц.

– Так рубль в месяц мы тебе жалованья прибавим, пока здесь на даче живем.

– Нет, нет, я не согласна. Приготовьте мне расчет и паспорт. Что это, помилуйте, даже и картофель учитывать! Вчера цветную капусту у носящего купили, сегодня картофель. После этого и корешки пойдут... А мне и зеленщик давал.

– Ну, полтора рубля тебе барыня прибавит. Ведь при покупках у носящих она имеет семь-восемь рублей в месяц.

– Нет, нет, и на это не согласна. Не люблю я с провизией в хозяйских руках быть. Никогда я так не жила. Ссориться я не буду, а разойдемтесь честь честью.

– Еще бы вздумала ссориться! – проговорила барыня.

– Бывает-с. Всяко бывает. Я вот остаюсь у вас все-таки на завтра, а другая снимет с себя утром передник без всяких предисловий, бросит барыне и стряпайте, как хотите. Я не такая. У меня совесть...

– Послушай, Марья, ты стряпаешь недурно, мне тебя жалко отпустить. Я тебе прибавлю два рубля в месяц, – предложил барин.

– Нет, нет! Какие тут два рубля! Не хочу я... Приготовьте расчет. Завтра вечером я уйду.

Кухарка повернулась и ушла.

– Каково? Кухарка и горничная... Обе... Да и нянька козырится... – покачала головой барыня.

Барин тяжело вздохнул.

– Зимняя квартира... Горничная, кухарка... Тьфу ты, пропасть! Все сразу. Одно к другому. Ну, жизнь!

В дачном поезде

I

Дачный поезд подошел к платформе, принял пассажиров, по большей части мужчин, отправляющихся в Петербург на службу, и уже тихо тронулся в путь, как вдруг на платформу вбежал запыхавшийся пожилой человек в форме чиновника военного министерства с портфелем под мышкой.

– Стой, стой! – закричал он, расталкивая стоявших на платформе жен и детей, пришедших проводить мужей и отцов, и, ринувшись вперед, вскочил на тормоз вагона и стал пробираться в самый вагон.

В вагоне все знакомые по рейсам, ежедневно едущие в Петербург и из Петербурга в одни и те же часы. Кивки направо и налево, приподнятые фуражки, рукопожатия.

– Опоздали сегодня, Иван Иванович? – слышится со скамеек.

– Вообразите – да. Еще четверть минуты, и я должен бы был дожидаться следующего поезда, который идет через два часа, а мне до одиннадцати часов утра надо побывать у его превосходительства и подать ему к подписи две бумажонки, потому что в канцелярии он сегодня не будет. Ведь мы каторжные... ни дня, ни ночи нет у нас для покоя. Ведь вот целый архив вожу с собой в портфеле, – хлопнул чиновник военного министерства по портфелю. – Вчера к Гребенкину на винт звали, а я сидел и бумаги строчил, да еще пришлось самому переписывать. Фу, как я рад, что успел вскочить в вагон! – прибавил он.

– Опасно так на ходу вскакивать. Долго ли до греха! – заметил бакенбардист в котелке.

– И плачешь, да скачешь. Служба, ничего не поделаешь. А опоздал прямо из-за жены. Вообразите, какую она со мной штуку сыграла. Я теперь каждый день перед отправлением на службу купаюсь в озере. Выкупаюсь и уж прямо на службу. Чудесно. Сегодня, отправляясь в купальню, сказал жене, чтобы она мне дала чистую рубашку, и захватил с собой сына, чтобы переправить с ним домой грязную рубашку. Так я очень часто делаю. Пришел в купальню, выкупался... Только хочу надевать чистую рубашку – глядь: вместо мужской у меня женская рубашка и даже с кружевами. Это жена мне по ошибке вместо моей свою положила. Ах, грех какой! Ну, как я под мундир надену вместо мужской женскую рубашку? А надеть ту рубашку, которая была на мне, так ту я бросил на пол, когда раздевался, и затоптал ее. Ну, сейчас сына домой командировал, чтобы переменить рубашку, и, пока он бегал домой, я опоздал вовремя прийти к поезду. А я аккуратнейший человек в мире.

– Ха-ха-ха... – послышался сзади чиновника военного министерства хохот. – Да вы бы женскую рубашку и надевали. Не все ли равно? Под мундиром не видать.

– Да ведь у жены декольте. Как я воротнички-то к декольте пристегну?

– Вот разве что воротнички. А то со мной раз была такая история, что я в гостях часа три во всем женском проходил. Белье, пеньюар и только женские туфли на ногу не влезли, так босиком остался, – рассказывал бакенбардист в светлой крылатке. – Давно это было. Лет пятнадцать тому назад. Еще я женат не был. Помните вы танцовщицу Мальвинскую, Марфу Ивановну? Она теперь умерла, царство ей небесное.

– Ну, как же не помнить! Я отлично помню. Она бешеные танцы танцевала, – откликнулся усач с крупной лысиной на лбу. – Я даже знаком с ней был. Я познакомился с ней, когда мы в Красном в лагерях стояли, а она танцевала у нас в Красносельском театре. Я тогда в драгунском полку был. Премилая женщина. Еще у ней вот здесь на плече была родинка.

– Погодите же, дайте же рассказать. Ну-с... Мальвинская жила тогда на даче на Крестовском. Она тогда пользовалась благорасположением полковника Карабасова, и нанимал он ей шикарную дачу...

– Да и Карабасова-то отлично знаю. Он еще жив, живет в своем пензенском поместье, но крепко разбит ногами, бедняга. Подагра у него, злейшая подагра.

– Ну, так как же вы в женском-то пеньюаре? – интересуются пассажиры.

– А вот сейчас, – отвечает бакенбардист. – Я давно бы уж рассказал, но меня все перебивают. Я был с ней знаком так просто... без всяких целей и никаких видов на нее не имел. А с Карабасовым я был приятель.

– Вы знаете, ведь он уехал из Петербурга, проклявши его навеки. Он в один вечер проиграл в клубе шестьдесят тысяч рублей, забастовал навеки, проклял...

– Да дайте же мне рассказать! Ведь эдак я никогда не кончу.

– Ну, рассказывайте, рассказывайте. А я это только к тому, что какая сила воли: быть игроком, проиграть в один вечер шестьдесят тысяч рублей и не попробовать даже отыграться.

– Я молчу. Вы мне не дадите говорить. Я молчу и не стану рассказывать.

Бакенбардист сделал серьезное лицо, нахлобучил на лоб шляпу и отвернулся к окну.

– Рассказывайте, пожалуйста. Ну, что тут... Пожалуйста, расскажите, – слышалось со всех сторон.

– Тогда попросите, чтоб они не перебивали.

– Михаил Семеныч... Уж вы не перебивайте, дайте им рассказать, – обратились к усачу.

– Да ведь я и не перебивал. А так как зашла речь о Карабасове, которого мы оба отлично знаем, то у меня невольно... Ну, да я потом... Пожалуйста... Начинайте... Я больше ни одним словом не обмолвлюсь.

Бакенбардист кашлянул и неохотно продолжал:

– Теперь уж неинтересно и рассказывать, а потому я буду краток. Карабасов пригласил нас на завтрак к Мальвинской. Меня и еще двух. Приехали. За завтраком было выпито изрядно. А Мальвинская жила на самом берегу реки, и у ней была лодка, которая тут же, против дачи, и была привязана. Ну-с, отлично. Вздумали мы после завтрака кататься на лодке. Да хорошо, что только вздумали, а не катались. Начали садиться в лодку. Я подаю руку Марфе Ивановне, хочу помочь ей сесть, пачусь и вдруг бултых с помоста в воду. Сейчас же ухватился за помост, выскочил, но ведь весь мокрый. К ней в дачу... Нужно сушиться, переодеться, но во что я переоденусь, если Мальвинская живет только с кухаркой и горничной и при ней никого из мужчин? Мальвинская и говорит: «Да переодевайтесь, – говорит, – в мое белье, и дам я вам свой белый пеньюар, пока ваше платье и белье высохнет».

– И вы оделись? – быстро спросили бакенбардиста.

– Конечно же, оделся. Что же мне было иначе делать? Ехать мокрому к себе домой? Но ведь на меня пальцами бы указывали, хохотали бы, как над шутком гороховым. Ну, я и переоделся в белье Мальвинской, надел сверху ее батистовый пеньюар, да в таком виде и просидел у ней, пока ее горничная съездила в город ко мне на квартиру и привезла мне другое белье и платье. Разумеется, в ожидании моего платья, сидели и пили, варили жженку. Вот и все...

– Ха-ха-ха! Воображаю я вас в белом женском пеньюаре! – хохотал усач.

Поезд убавлял ход и подходил к следующей платформе. На платформе толпились отправляющиеся в город дачники и пришедшие их проводить жены и дети с няньками и мамками.

II

Поезд, убавив ход, стремится к дачной платформе. На платформе, среди отправляющихся в службу дачников, начинается прощание с пришедшими их проводить женами и детьми.

– Прощай, Пьер... – говорит бесцветная блондинка мужу, средних лет толстенькому и коротенькому человеку с бородкой, облеченному в пальто-крылатку, из-под которой выглядывает вицмундир с золотыми пуговицами. – Сегодня, стало быть, домой обедать не приедешь? – спрашивает она, чмокая его в щеку.

– Да ведь где же... если вечером в восемь часов комиссия, – отвечает муж, перекладывая с руки на руку свой портфель.

– Ах, как я не люблю, когда ты дома не обедаешь!

– Да ведь служба... Ты радоваться должна, что я назначен в комиссию. Потом получу что-нибудь из остаточных сумм за это.

– Ну, что! Крохи!

– Все лучше, чем ничего. Тебе зимой надо крыть меховую ротонду – вот на ротонду и хватит. Однако прощай... Надо садиться. Не подходи близко к вагонам, не подходи.

– Ты на последнем вернешься?

– На последнем. Прощай. Держи Шурку-то за руку. А то он как бы не сунулся.

– Простись с ребенком-то хорошенько. Ах, отец!

– Да ведь уж простился. Боже мой, как второй-то класс набит!

Толстенький и коротенький человек влезает в вагон и через несколько времени появляется у открытого окошка. Жена подходит к окну.

– Не подходи близко, не подходи... Сейчас поезд тронется, – говорит он.

– Не забудь привезти бисквит и ваксы, – напоминает она.

– Да, да... У меня записано.

– И обойных гвоздей...

– Записано.

– Выгляни-ка из окошка хорошенько.

– Что такое?

– Высунься. Я хочу тебе что-то сказать.

Муж выставляется в окно. Жена приближается к нему и шепчет:

– Будешь обедать в ресторане, так не пей много.

– Да что ты! Ведь у нас вечером комиссия.

– И прошлый раз была комиссия, однако от тебя как пахло!

– Да полно, матушка.

Звонок. Поезд тихо трогается.

– Бисквит, ваксы, гвоздей, пудры и шелковых шнурков для корсета! – еще раз напоминает жена.

– Знаю, знаю.

Толстенький и коротенький человек отходит от окна и садится.

– Все комиссии супруги правите? – спрашивает его высокий тощий брюнет, укладывая в сетку пакет, завернутый в газетную бумагу.

– Да ведь нельзя, знаете. Здесь в дачных местах ничего нет. Я даже себе табаку богдановского на папиросы вчера найти не мог.

– Да, вот и мне жена поручила зайти к портнихе и снести ей вот этот спорок. Хорошо, что сегодня останусь в Петербурге до последнего поезда, а то бы и не успеть. Портниха ее живет на Песках в Слоновой улице.

– Ах, и вы остаетесь до последнего поезда? – спрашивает толстенький коротенький человек.

– Нельзя... Надо проветриться и европейским человеком стать, а то в здешних глухих местах живешь, так эфиопом сделаешься, – отвечает высокий брюнет. – Никого, кроме нянек с ребятами, не видишь. Думаю после службы пообедать у татар на Черной речке, а потом в «Аркадию»...

- Комиссия? – смеется толстенький человек.
- Да, конечно же, комиссия. Иначе как же нашему брату, семейному человеку, на весь вечер отлучиться?
- Ха-ха-ха... И у меня заседание комиссии. Как хотите, а ведь без этих комиссий на даче просто одурь возьмет.
- Ха-ха-ха-ха! И все-то мужья на один покрой!
- От того, что все от одного праотца Адама. А только доложу вам, что иногда и ложь во спасение. Ну, что бы было хорошего, ежели бы я ей прямо сказал: еду, мол, проветриться в Зоологический сад? Сейчас ревность, попреки. А так сохраняешь домашнее спокойствие.
- А вы сегодня куда думаете махнуть?
- Да хоть куда-нибудь, только бы не слышать этого пищания ребятишек. А то ведь у меня дома и в дудки, и в барабаны, и в трещотки... Один кричит: «Папенька, покачай меня на качелях»; другой кричит: «Прокатай меня в тележке»; третий...
- А у вас сколько?
- Пятеро. Да вот в сентябре еще жду. Нынче из-за этого надо пораньше в город переехать.
- Ой, ой, ой... Пятеро и шестого ждете. Нет, у меня только четверо, и никого я не жду, а и то считаю, что много.
- По-немецки надо жить, у немцев поучиться. Немцы как-то умеют... Немец скажет: довольно троих. Смотришь – только трое и есть.
- Аккуратный народ. Послушайте... Приезжайте в «Аркадию» к девяти часам. Веселее будет. Выпьем какого-нибудь месива в кувшине. Теперь уж ягоды есть.
- Я обещал Михаилу Андреевичу Дукатову пообедать вместе с ним, так уж не знаю, как он...
- Тоже комиссия?
- Само собой.
- Ну, так вот и Дукатова склоняйте в «Аркадию». Ложу в складчину возьмем. Со мной будет Куролесов. Он нас познакомит с дамами. У него все садовые дамы знакомые.
- Запутаешься и на поезд опоздаешь.
- А велика беда? Ну, телеграмму жене пошлете, что так и так, за поздним временем...
- С ума сойдет, крышу с дома снимет, бесновавшись.
- Приучать надо. А в крайнем случае возьмем в складчину троечную коляску и в коляске... Ведь обратно-то всем по дороге.
- Это еще хуже. Начнет меня бранить, что на коляску деньги бросил. Надо на поезд поспеть. Да я поспею.
- Так будете в «Аркадии»?
- Я думаю. Куда же иначе-то? Куда ни поезжай, а в «Аркадии» будешь.
- Чего вы с обузой-то этой таскаетесь? – Тощий брюнет кивнул на портфель.
- Нельзя... Это внушительнее. Отвод глаз делает, – отвечал толстенький человек.
- Поди, ведь старые газеты?
- Все тут. А на обратном пути он у меня служит складочным местом для закупок. Ведь вот сегодня ночью надо привезти гвоздей, бисквит, ваксы, шнурков...
- Послушайте... Тогда уж и пообедаем вместе. Приезжайте к пяти часам в ресторан на Черную речку. Знаете?..
- Хорошо, хорошо. Как не знать...
- Поезд подходит к следующей дачной платформе и останавливается.

III

Поезд только что подошел к дачной платформе. Ожидавшие его пассажиры тотчас же вскочили в вагоны и стали размещаться по свободным местам.

Вот в проходе между местами протискивается бородач в светлом сером пальто и в такого же цвета шляпе. Слева у него портфель под мышкой, справа корзинка в руке, покрытая бумагой и обвязанная веревкой.

– Позвольте, господа... Пардон... Дайте пройти... Виноват... – бормочет он.

– Батюшки! Кондратий Михайлыч... И с какими поносками! – слышится сбоку, и средних лет одутловатый человек в пальто-крылатке приподнимает с головы форменную фуражку с зеленым кантом.

– А! Максим Гаврилыч! Около вас место свободное?

– Свободное, свободное. Садитесь.

Бородач в светло-сером пальто начинает усаживаться, ставя корзинку в сетку.

– И что эта проклятая дорога скупится на вагоны! – ропщет он. – В третий вагон вхожу – и все переполнено. В заднем вагоне так даже приткнуться негде. На дыбах стоят. Сейчас для дамы согнали с места какого-то гимназиста. А ведь гимназист тоже деньги платит.

– Вечная история. Но вопиять можете сколько угодно – им все равно что к стене горох, – говорит форменная фуражка, смотрит на корзинку, обвязанную бумагой, и прибавляет: – А вы не только что из Петербурга на дачу, но даже и с дачи в Петербург с поносками.

– И не говорите! Уж такова наша судьба, судьба петербургского дачника. Фильтр везу в починку, пастеровский фильтр.

– Фильтр? Да разве вы все еще...

– Все еще на холерном положении. Мы так и не кончали. То есть повальное поглощение соляной кислоты у нас давно уже отменено, но воду продолжаем пить или отварную, или пропущенную сквозь пастеровский фильтр. Калганная настойка у меня отменена, но зато введен настой мяты и еще кой-каких снадобьев.

– Да ведь давно уж нет холеры.

– Будет. Была два года, так придет и на третий, так уж лучше же ее во всеоружии встретить. Фланелевые набрюшники у нас целы, соляной кислоты большая бутылка еще от прошлого года осталась и одно только – про дезинфекцию забыли.

– Да неужели вы даже сырых овощей не кушаете?

– Ем, но только тайком от жены и на стороне, а дома – ни-ни. Вот третьего дня обедал в городе, так порцию ботвиньи съел.

– А у меня жена так даже холерную аптечку уничтожила, когда мы из города на дачу переезжали. Все, все выкинула.

– Придется покупать-с.

– Ну вот, типун бы вам на язык.

– Да уж как там хотите, а купите. Помяните мое слово, что купите. Знаете, ведь и теперь есть что-то такое эдакое в воздухе.

– Позвольте... Да ведь ежели бы было, то было бы писано в газетах.

– А есть. Я сам чувствую, что есть. Да вот не далее как во вторник вечером играем мы у Неумытова в винт...

– У Василья Савельича?

– Вот, вот... Три робера сыграли – ничего... Потом вдруг чувствую как бы колики в желудке. Я соды... Как будто бы отлегло. Но через несколько времени начинает уж урчать, и что-то такое на языке противное. Я, разумеется, заторопился домой. Прибежал – горчичник

на желудок, потом прием боткинских капель, лег в постель, заснул, просыпаюсь на заре, и весь в поту.

– Однако ведь ничего?..

– Да хорошо, что горчичник и боткинских капель хватил. А вся штука-то в том, что я тайно от жены три крутых яйца съел за завтраком и свежепросольный огурец. Нет, как хотите, а что-то есть. Зимой не было, но как лето настало – есть. И что обидно, знаете, что карта мне в тот вечер шла как на почтовых... Три раза маленький шлем пришел. Что ни сдадут – игра. Но заурчало, и пришлось бросить. Вернейшим образом из-за этого проклятого урчанья пять-шесть рублей прозевал.

– Да, это обидно... – проговорила форменная фуражка. – Со мной на прошлой неделе тоже был в винте преобидный случай...

– Вот видите, видите! – воскликнуло серое пальто. – Нет, оно есть что-то в воздухе, уверяю вас, что есть, и как только ягоды поспеют...

– Позвольте... Да у меня вовсе не из-за желудочных припадков. Заболел бы желудок, так я и внимания бы не обратил, а все-таки доиграл бы как-нибудь, потому я человек не мнительный. А со мной был случай обиднее. Я и посейчас без досады и без проклятий вспомнить не могу.

– Ошиблись тузом, что ли?

– Хуже-с. Играем мы у Кукурузова... Кукурузова знаете?

– Это что по духовному ведомству служит?

– По духовному ведомству служит его брат Иван Павлыч. А этот – черт его знает, где он служит! Ну, да ведь это все равно. Кажется, он дисконтер, а может быть, даже и ростовщик. Ну, да наплевать на него. Познакомились мы в поезде. Чудесно. Живет через три дачи от нас. Слово за слово, и пригласил он меня к себе на винт. Сидим, играем в садике. Я, он и совсем неизвестная мне какая-то усатая личность. Сначала карта мне не идет... Но я даже, знаете, люблю, когда ко мне вначале карта не идет. Играем по пятидесятой. Вдруг сдают мне на руки большой шлем.

– Большой шлем? Гм...

– То есть я вам говорю – карта к карте. Ну, думаю: вот наконец-то и на мою сиротскую долю... А надо вам сказать, что за последнее время меня карта ужасно как бьет. Бьет, а тут вдруг такая оказия...

– И вы ошиблись? – перебивает форменную фуражку серое пальто.

– Погодите-с... Хуже. Только начались переговоры, вдруг против дачи Кукурузова сталпливаются мальчишки и дворники, смотрят на крышу и указывают пальцами. Кукурузов кричит им: «Что такое? Что там?» Ему отвечают: «Огонь, из трубы огонь». Все моментально вскакивают и бегут на улицу. Я кричу: «Господа! Господа! Погодите. Дайте доиграть!» Никто и слышать не хочет. Из трубы, оказывается, выкинуло, сажа в трубе загорелась. Ну, дворник полез с ведром на крышу, плеснул в трубу воды – и потушил огонь. Я свои карты в кулаке держу. Вернулись мы к столу, глядь – все партнерские карты сбиты. Показываю свои карты, убеждаю – ничего не берет. Ну, понимаете вы?.. Впору хоть заплакать. Однако бросаю карты. Сдают вновь... И как начали меня бить, как начали!.. Кончилось тем, что на восемнадцать рублей меня и выпотрошили. Вот вам и большой шлем! – заканчивает форменная фуражка, смотрит в окошко и говорит: – Однако, смотрите какая масса пассажиров и на этой платформе. Куда их сажать будут?

Поезд останавливается перед платформой.

IV

Пожилой бородач в форме военного министерства вошел в вагон, раскланялся с ежедневно путешествующими с ним в утреннем дачном поезде, сел на скамейку, вынул из кармана небольшую бумажку и, надев на нос пенсне, начал читать написанное в ней. Сидевший против него усач в серой шляпе и сером пальто-крылатке улыбнулся и спросил:

– Требование матери-командирши, поди, читать изволите?

– Вот, вот... Действительно, жена написала мне для памяти, что нужно в Петербурге купить для хозяйства. А вы почему догадались?

– Да уж знаю я. Мне самому сейчас такой же реестрик сунули. Там и рис, там и персидский порошок, и бура, и десять аршин полотняных кружев в два пальца.

– Вообразите, и у меня рис. «Рису десять фунтов, но не королевского, а простого, так как гостей на этой неделе к себе не ждем, а для самих и этот хорош».

– Ах, так она у вас даже с подробностями...

– Да ведь делать-то ей нечего, так вот и выписывает. «Помады банку в 20 копеек бергамотной, на этикетке которой изображен бык».

– У меня сегодня вместо помады пудра, – говорит усач. – То есть это ужас, сколько она пудры издерживает!

– У вашей жены пудра, а у моей кольдкрем. Каждую неделю банку кольдкрему ей привожу. И когда только она его вымазывает – не понимаю. Вот и сегодня... Помады и банку кольдкрему. «Палочки три ванили»... Позвольте, позвольте... А вот это уж я не знаю, где и как купить.

– Что такое? Может быть, я знаю.

– «Мухоловку стеклянную, какая у Марьи Андреевны».

– Стеклянные мухоловки есть. В каждой посудной лавке найдете.

– Позвольте... Да ведь надо именно такую, какая у Марьи Андреевны, а я даже не знаю, кто это такая Марья Андреевна. Вот тоже пишет!

Бородач пожал плечами.

– Да просто купите стеклянную мухоловку, – сказал усач.

– Хорошо сказать: купите. А как купишь, да не ту? Тут в записке прямо сказано: как у Марьи Андреевны. Вот тебе и штука! Хоть бы я знал, кто это такая Марья Андреевна!

– Мухоловки стеклянные все на один покрой. Не ошибетесь.

– Если бы были все на один покрой, то не писала бы она: какая у Марьи Андреевны. Нет, стало быть, ей нужна какая-нибудь особенная мухоловка.

– Да разве она вам на словах не объясняла?

– Где же объяснять, когда она спала еще, когда я уходил. Записку она приготовила с вечера и положила мне в часовой башмачок, который висит у меня над кроватью и в который я кладу на ночь часы.

– Может быть, с вечера говорила, да вы забыли?

– С вечера! С вечера я у соседей играл в винт до часу ночи, а когда вернулся домой, она уже спала... «Мухоловку стеклянную, какая у Марьи Андреевны»... Тьфу ты, пропасть! Вот так задача! Как тут купить?

– Да купите какую-нибудь мухоловку – вот и вся недолга.

– Гм... Позвольте узнать, ваша жена с нервами? – спросил бородач.

– То есть как это: с нервами? – переспросил усач. – Да разве бывают?..

– Пожалуйста, пожалуйста... Вы очень хорошо знаете, о чем я говорю. Я спрашиваю о нервных приступах. Бывают они у вашей супруги?

– Ах, вот что! Ну что ж, дело житейское... или, лучше сказать, дамское. Бывают.

– Так как же вы говорите: купите хоть какую-нибудь мухоловку. А не угодишь? А не ту купишь? Не ту, которая у Марьи Андреевны, да и попадешь под первый приступ? Ведь это пахнет порчей всего обеда. Голодный останешься.

– Да, да... Ах, женщины! А особенно избалованные!

– Поняли? Знаете, в чем дело? Поди, ведь и у вас то же самое?

– Да как же, помилуйте. На прошлой еще неделе привожу по записке гофманские капли, простые гофманские капли, а она говорит, что не те, потому что не из той аптеки, из которой она хотела... Она требовала из аптеки Брезинского, что против Гостиного двора, а я послал курьера со службы, и тот взял в какой-то другой аптеке. Привожу капли – не те, да и что ты хочешь! Я и так и сяк... «Душенька, понюхай... Гофманские капли во всех аптеках одинаковы». Не те!..

– Ну, и нервы?

– Банку с каплями сейчас шваркнула об пол.

– Вот-вот. И моя так же, как только не потрапишь. А потом попреки, а затем в слезы, а там... Ну, и останешься без обеда, потому что завалится на постель. Ей хорошо. Она, ожидая меня, и того кусочек, и этого ломоточек, а я голодный.

– Я в этих случаях велю подавать мне на стол одному и ем, – сказал усач.

– И я ем, но уж спокойствие-то потеряно и, главное, того аппетита нет.

– А я уж привык и ем отлично. Да и она-то, видя, что я ем, соскочит с постели и сама есть начинает. Ест и язвит. А я сижу и молчу.

– Это еще хорошо, когда язвит. Это первая степень нервов. А вот когда молчит, дуется и молчит, и, чуть подступишься с чем-нибудь, то все летит и вдребезги – вот это уже вторая степень. А это, согласитесь сами, и неприятно, и в хозяйстве убыточно.

– А у вас большей частью вторая степень?

– В том-то и дело, что вторая. Ежели мы с вами так разговорились и сошлись на одинаковых неприятностях, то должен вам признаться, что вторая, – печально кивнул бородач.

– И постоянно так? – спросил усач.

– Постоянно.

– Это нехорошо. У меня также бывает вторая степень, но сравнительно редко.

– А у меня всякий раз. «Мухоловку стеклянную, какая у Марьи Андреевны», – прочитал еще раз бородач и пожал плечами. – Нет, уж лучше сегодня никакой мухоловки не покупать, а отложить до завтра, а сегодня вечером расспросить хорошенько, какая это такая Марья Андреевна и какая мухоловка.

– Да ведь тогда, пожалуй, не только вторая степень будет, а, может быть, и третья, ежели не привезете мухоловку?

– Надо привезти противоядие, и тогда, пожалуй, без всякой степени дело обойдется.

– А противоядие есть?

– Есть.

– Какое?

– Да привезти что-нибудь такое, чего она в реестре не упомянула, а между тем любит. Вот, например, фунт шоколаду. Или ошибиться и привезти вместо восьми аршин полотняных кружев целый кусок кружев, а ей сказать, что купил по случаю, дешево, что вместо пятнадцати копеек за аршин заплатил пять...

– Понимаю, понимаю... – кивнул усач.

– Еще бы не понять! Женатый человек да не понять! – отвечал бородач.

– Знаю, знаю. Вы вот это называете противоядием, а я это называю отпаривать удар.

В каждом семействе свои термины.

– Куплю целый кусок кружев! – махнул рукой бородач. – А мухоловку сегодня побоку.

Поезд умерял ход и остановился около промежуточной дачной платформы.

V

– Читали вы, Валерьян Иванович, во вчерашних газетах?.. – спрашивает дама в синем ватерпруфе и шляпке с рожками из перьев пожилого бакенбардиста с портфелем на коленях.

– Вы это о чем? – откликается тот. – Что Казерио оказался вовсе не Казерио и даже не итальянец?

– Что мне за дело о Казерио, хоть бы он кем ни оказался! Мерзавец, которого надо повесить, чем скорее, тем лучше. А я говорю о холере. Вообразите, опять к нам жалует. По вчерашним известиям, она уж в Кронштадте. Да неужели вы не читали?

– Читал, читал-с. Но что ж из этого? Знаете, теперь уж мы к ней как-то привыкли.

– Чего-с?

– Привыкли, я говорю, к холере этой.

Дама пожимает плечами.

– Вот уж не ожидала, что вы так скажете! Отец семейства... Куча детей.

– Позвольте... Да ведь уж третье лето, так как же не привыкнуть.

– Нет-с, я не привыкла, и мой муж Василий Спиридоныч не привык, и никогда не привыкнем. Ах, боже мой! Только-только думали настоящим манером лето прожить: начали купаться, посеяла я себе грядку огурцов на дворе, и вдруг все это надо бросить!..

– С какой же стати бросать? Продолжайте все, благословясь, и не обращайтесь ни на что внимания и, уверяю вас, будете здоровы и веселы.

– Ну, после этого я с вами и разговаривать не хочу. Вы, очевидно, задались целью злить меня, – пожимает плечами дама в синем ватерпруфе и пересаживается на другую скамейку.

– Анна Еремеевна, вы меня не так поняли, – говорит ей вслед бакенбардист, но дама не обращает на него внимания. Она уже заговорила о холере с другой дамой в коричневом казакине с буфами на рукавах, поднимающихся выше ушей.

Дама в казакине оказалась сочувствующей ее мыслям и произносит:

– Да, да... А мы, вообразите, только добились такой кухарки, которая делает отличный квас. Сделала она нам бочку, и теперь, вследствие холеры, приходится это все бросить.

– Вот-вот... – подхватывает дама в ватерпруфе. – Это-то и обидно. А у нас в саду на даче, как назло, более десятка кустов черной смородины и кусты переполнены ягодами. Мой муж сказал уже дворнику, чтоб тот оборвал их.

– И хорошо сделал.

– Да как же... Дети наестся могут. Дети ведь не разбирают. Они и сырые ягоды едят. Вот теперь еду в Петербург купить фланели и тесемок на набрюшники, да кстати холерную аптечку куплю.

– Да неужели у вас от прошлых годов не осталась аптечка?

– Вообразите, нет. Гофманские капли дети на сахаре выпили, соляную кислоту муж в прошлом году всю до капли выпил, мятная настойка пошла зимой в водку, а касторовое масло я себе на голову вместо помады вымазала. Помилуйте, ведь уж думали, что все кончено. В прошлом году так и говорили, что только на два лета, ан нет, теперь оказывается, что надо третье лето. И не понимаю я, чего санитарные врачи смотрят! Дезинфекцию оставили – вот она опять к нам и забралась. Куплю также четверть ведра карболовки. Наш дачный хозяин – идиот какой-то, и когда мы ему стали говорить, отвечает, что со стороны полиции еще приказания не было, чтобы прыскать. Ах, как это неприятно, как это неприятно! Только что начали купаться – и вдруг...

– Нам еще неприятнее. Мы для кваса купили бочонок, ушат – и куда теперь все это? А мы даже еще и ботвинью не ели, дожидаемся, когда лососина подешевеет.

– И мы не ели. Помилуйте, лососина – шесть гривен фунт. И как рано началась!

– Да, да... В прошлом году началась в конце июля, в третьем году в половине августа, а тут вдруг в июне, когда еще даже овощи не успели созреть. В те года мы все-таки успели кое-чего поесть до холеры, а нынче в июне...

Дамы покачали головами и умолкли. Через несколько времени дама с буфами до ушей спросила даму в шляпке с рогами из перьев:

– А как вы думаете, на велосипеде вредно во время холеры кататься?

– Да конечно же... Во время холеры все вредно.

– Ну, вот подите! А я своему старшему сыну купила велосипед в рассрочку. Бочка для кваса, велосипед, ушат – все это надо бросить.

– Да как же... Одно бросить, а другим обзаводиться. Ведь уж вот набрюшников нет, аптеки нет, все брошюры о том, как надо вести себя во время холеры, у нас пропали.

К дамам наклоняется усатый господин в пальто крылатке и форменной чиновничьей фуражке.

– Вы изволите о холере?

– О холере. Третьего дня муж читает, и меня, верите, как громом поразило, – отвечает дама в синем ватерпруфе. – Ведь уж, как хотите, в Кронштадте, это значит, все равно что у нас. Но что обидно – это то, что третье лето придется грибов не есть.

– Ну, отчего же? В умеренном количестве все можно есть, – замечает усатый господин. – Ведь и грибы... Проварите вы их основательно, потом прожарите, а для удобосварения рюмку водки...

– Да ведь какая же водка дамам...

– В эпидемию, я так считаю, пола нет. Тут дама или мужчина – все равно. Да, наконец, зачем в данных случаях вы смотрите на водку как на водку? Смотрите как на лекарство, как на гигиеническую меру. Моя жена в холерное время всегда вместе со мной водку пьет. А коньяк? Коньяк ведь уж прямо прописывается врачами как гигиеническая мера, а коньяк – та же водка. А только я вот что думаю: в нынешнем году холера уж не будет иметь надлежащего успеха.

– Отчего?

– Да оттого, что к ней уже успели за два года привыкнуть, она сделалась обыкновенною обычною болезнью.

– И вы то же самое? Ну, мысли!

– Мысли самые верные. К тому же, как оказывается, она почти не трогает интеллигентные классы. Пейте прокипяченную воду, не кушайте соленой рыбы...

– А разве это приятно, чтобы в рыбе себе отказывать? – спрашивает дама с буфами выше ушей. – Вот соленую-то рыбу я только и люблю. Для нее-то мы только и квас сделали, чтоб с ней ботвинью есть, а вот теперь оказывается... Эх, обидно. Скажите, пожалуйста, сколько вы будете брать фланели на каждый набрюшник? – обращается она, понизив голос, к даме в ватерпруфе.

– Да видите, ежели взять взрослый живот... Конечно, живот моего мужа в пример идти не может, ему надо двойное количество фланели. Но ежели взять обыкновенный живот...

Дамы начинают разговаривать тихо. Поезд подходит к дачной платформе, убавляет ход и наконец останавливается.

Дачный жених

I

– Нет, уж как хочешь, Серафима, что ты там ни говори, а сегодня надо выяснить, с какими намерениями он к нам ходит. По моему расчету, он у нас больше полупуда лососины съел, а лососина дешевле тридцати копеек за фунт нынче и не была. А сыр швейцарский и раки? А сардинки, а кильки, которые я для него покупаю? О мясе я уж не говорю, хотя для него я телячью печенку покупала. Специально телячью печенку, потому что он сказал, что телячья печенка с луком – для него первое блюдо.

Так говорила мать, тощая, пожилая, высокая женщина, обращаясь к своей дочери, девушке тоже уже не первой молодости, пестро одетой, несколько подкрашенной, с подведенными бровями. Дочь вся вспыхнула и отвечала:

– Но, мамаша, ведь вы сами же всякий раз приглашаете его обедать, когда он проходит мимо нашей дачи со службы. Он направляется в кухмистерскую, а вы высказываете и зазываете: «Милости прошу, Василий Павлыч, милости прошу, к нам на перепутье. Сейчас за стол садимся».

– Да, я приглашаю, но ежели он благородный человек, он сам должен понимать, с какою целью я его приглашаю. Он видит, что у меня дочь на шее и что я ищу ее сбыть с рук.

– Как это хорошо так говорить: сбыть с рук.

Дочь насупилась и отвернулась.

– Милая, в моем положении речей подбирать нельзя. Как хочешь, тебе двадцать семь лет, – отвечала мать.

– И всего-то двадцать шесть, маменька.

– Позволь... Метрическое твое свидетельство у меня, а не у тебя, и, наконец, я это говорю глаз на глаз. Конечно, при людях я всем рассказываю, что тебе двадцать три.

– Да ведь и на деле только что только исполнилось двадцать шесть лет.

– Однако двадцать седьмой все-таки уж пошел.

– Так двадцать седьмой же, а не двадцать семь.

– Это решительно все равно, впрочем. Будь тебе двадцать, двадцать шесть, двадцать девять, но там, где есть взрослая девушка в доме, безнаказанно в течение двух месяцев двадцать раз обедать нельзя.

– Да не обедал он двадцать раз.

– Больше, милая, а завтраки по праздничным дням я уж не считаю, хотя и за завтраком всегда пирог какой-нибудь, кофей, булки. Прошное воскресенье нарочно для пирога сига покупала, а сиг маленький – и то шесть гривен. А пиво, а водка? Мадеры он бутылки три у меня за это время вытрескал, а мадера по полтора рубля.

– Да ведь и сами мы вместе с ним пьем и едим. Мадеру вы сами пьете.

– Так ведь для него же я пью, чтобы ему была компания. А что до лососины, то неужели я при моей пенсии буду платить за лососину по тридцати пяти и по сорока копеек, ежели мы обедаем одни? Раз даже заплатила по полтиннику за фунт. Шутка! По полтиннику за фунт! И наконец, всякий раз к ботвинье свежие огурцы, а они по весне... ты сама знаешь, почем они были. Теперь клубника, сливки... Нет, это надо выяснить.

Дочь пожала плечами.

– Да как вы выясните? – спросила она.

– Очень просто. Сейчас сяду за калитку нашей дачи, буду ждать, когда он пройдет мимо, зазову его обедать и за обедом решительно спрошу: «Позвольте, мол, узнать, с какими вы намерениями».

– Однако сами же зазовете?

– Сама, сама. Так что ж из этого?

– И вот всегда так. А с его стороны нахальства не было.

– Нахальство, прямо нахальство. Ежели он не имеет благородных намерений, он должен отказаться под благовидными предлогами. «Благодарю, мол, вас, но у меня срочная работа взята домой» или что-нибудь вроде этого. Который теперь час?

– Да уж скоро пять.

– Скоро пять! Стало быть, его надо караулить. В четыре часа он выходит со службы, час едет по конке. Переоденься. Надень сейчас на себя твой мордовский костюм и выходи за калитку. Мордовский костюм к тебе лучше всего идет.

– Но уж я раз пять была за обедом при нем в мордовском костюме.

– И все-таки он ему нравится. Он даже высказывал, что ты в нем очень интересна. Сегодня решительный день атаки, а потому все средства надо пустить в ход. Одевайся, одевайся. Да пойдешь мимо кухни, так скажи Дарье, чтобы она сбегала в лавку и купила к закуске селедку. Сегодня я для него, для подлеца, грибы делаю в сметане. Неужели уж грибами-то его пронять нельзя!

– Ах, мамаша!

– Нечего ахать! Иди. Селедку... Да там у нас еще полкоробки сардинок осталось. Я, милая моя, часы с цепочкой из-за него, мерзавца, заложила. Да бусы цветные не забудь надеть... И прическу в две косы... В две косы ты моложавее выглядишь.

– Ах, не дело вы затеваете!

– Тебе сказано, чтобы ты не ахала! Не дело! Надо же когда-нибудь конец положить.

– Конец надо выждать. Он сам собой выяснится.

– Выждать мне уж надоело. Благодарю покорно. Прямо категорический вопрос: так, мол, и так... И ежели неудовлетворительный ответ – сейчас выгон. «В таком, мол, случае, милостивый государь, потрудитесь оставить наш дом».

– Как оставить дом? Он взял мою браслетку с бирюзой и с бриллиантиками починить.

– Браслетку? Зачем же ты ему отдала?

– Да ведь у ней замок сломался. В город мы ездим редко – вот я и попросила его свезти починить.

– Вот дура-то! Да браслетка твоя сорок рублей стоит.

– Позвольте... Да что ж из этого? Ведь вы же его в зятя себе прочите.

– Прочу, но пока не выяснилось дело...

– Он сегодня хотел ее привезти из починки.

– Боже мой, что ты наделала! А вдруг он не привезет, как я тогда его гнать буду?

– Но зачем же гнать-то?

– Ах, подлец, подлец! Вот хитрый-то! Это он у тебя нарочно в залог браслетку выманил, чтобы еще бесчисленное множество раз безнаказанно обедать у нас.

– Он, мамаша, вовсе не мошенник.

– Знаю я их. Все они не мошенники, однако вот уже около полудюжины таких сорвалось. Пили, ели и удирали. Один даже тринадцать рублей в стукалку мне проиграл и, не заплативши, свернулся. Ах, Серафима, какая ты дура!

– А вот увидите, что он сегодня или завтра принесет браслетку.

– Ну, марш, марш, одеваться! Все-таки я сегодня поставлю вопрос ребром. Одевайся и выходи ко мне за калитку. А я буду караулить его.

Дочь пожалала плечами и направилась в дачу.

– Селедку! Селедку не забудь! Когда твоей сестре Кате теперешний ее муж сделал предложение, тоже была селедка к закуске. Селедка – счастливая закуска! – кричала ей вслед мать и вышла за калитку палисадника.

II

Серафима, одетая в мордовский костюм, с двумя косами, распущенными по спине, вышла за калитку палисадника дачи. Мать ее сидела около калитки на скамейке и, шурясь, смотрела вдоль придорожной аллейки, идущей мимо дачных палисадников.

– Не проходил еще... – сказала мать и перевела глаза на дочь. – Щеки-то, кажется, мало притерла, – прибавила она.

– Нехорошо много при дневном свете. Очень уж заметно будет, – отвечала дочь.

– Ну, садись на скамейку со мной рядом и давай его ждать. Сколько он жалованья-то получает?

– Да ведь врут они все. Говорит, что сто рублей в месяц и два раза в год награды.

– Напрасно я не съездила в их канцелярию и не справилась. Ну, да все равно: ежели и семьдесят пять рублей, то и это довольно. Может вечерних занятий искать... дом где-нибудь управлять из-за квартиры. К семидесяти пяти рублям ежели приложить мой пансион, то при известной экономии и очень недурно можно жить.

– Ах, вы хотите вместе...

– Конечно же. Последнюю дочь пристраиваю, так неужели мне одной остаться!

– Нет, я к тому, что у него тоже мать-старуха живет в провинции при его замужней сестре...

– А уж живет при его сестре, так мать-то свою может и оставить. Идет... – встрепенулась мать. – Ну, Господи, благослови! Дай доброму делу быть.

Дочь вздрогнула и сказала:

– Маменька, только вы, пожалуйста, не очень...

– Да уж я знаю, как... Перекрестись же, дура...

Дочь перекрестилась. По аллейке шел молодой мужчина, в светлом пальто, в шляпе котелком с портфелем под мышкой. Он приближался к ним. Мать сложила лицо в улыбку и, взглянув на дочь, проговорила:

– Да сделай ты веселое-то лицо. Ну, что кикиморой сидишь!

– Как тут веселое лицо, коли вы скандал хотите делать...

– Какой же тут скандал?

Молодой мужчина поравнялся с ними. Это был небольшого роста блондин с маленькой бородкой, тщедушный, с несколько как бы испуганными глазами. Он приподнял шляпу.

– Здравствуйте, здравствуйте... – заговорила мать. – Что это так поздно сегодня?

– На службе сегодня позамешкался, да и конка тащилась, как черепаха.

– А мы вас ждем, чтобы перехватить. Пойдемте к нам обедать. У нас сегодня ваши любимые пельмени. Ягоды со сливками и борщ из молодой свеклы.

Молодой человек замялся.

– У меня сегодня работа взята... – хлопнул он рукой по портфелю. – Я хотел наскоро зайти в кухмистерскую и приняться потом за дело, а ведь у вас засидишься.

– Дело не медведь, в лес не убежит. Пойдемте, Виталий Павлыч... Нарочно ждем вас, – говорила мать. – Я сегодня заказываю кухарке пельмени, а Серафима и говорит: «Виталий Павлыч пельмени так любит»... Проси же, Серафима...

– Пойдемте... Мы вас не задержим... Чем в кухмистерской обедать, лучше же у нас, – проговорила Серафима и вскинула на него глаза.

– Не смею отказываться... – поклонился молодой человек.

Они вошли в палисадник. На террасе дачи был накрыт стол на три прибора.

– Серафима! Бери у Виталия Павлыча портфель...

– Что вы, что вы... С какой стати?... Я сам...

Молодой человек положил портфель на стул, снял с себя пальто и перекинул его через перила террасы.

– Вот и селедочка приготовлена. Выпейте водочки, – предлагала мать.

– Жарко очень... – отнекивался он. – В такую погоду, знаете...

– Да полно вам кокетничать-то! И я с вами выпью.

– С вами, пожалуй.

Выпита первая рюмка, вторая, третья, съеден борщ. Мать подкладывала Виталию Павловичу то сосиску из борща, то кусочек говядины и рассыпала разговор. Дочь больше молчала. Вот и пельмени. Виталию Павловичу наложен на тарелку целый ворох. Он отнекивался, но съел. Подали клубнику со сливками. Мать подмигнула дочери и, обращаясь к молодому человеку, начала:

– А я сегодня, Виталий Павлович, имею до вас серьезный разговор.

– Какой это? – встрепенулся молодой человек, только сунувший в рот ложку с клубникой, и остановился, перестав ее разжевывать.

– Ведь вот у меня дочь – невеста, – продолжала мать. – Я все хотела вас спросить, с какими намерениями вы посещаете наш дом.

– То есть как это? Когда вы позовете, то я... Я очень люблю и уважаю вас и Серафиму Игнатьевну...

– Этого мало-с. Это все на словах, но надо доказать и на деле: выяснить, кончить.

Мать перестала есть и в упор смотрела на Виталия Павловича... Дочь сидела ни жива ни мертва, вся вспыхнувшая.

– Да-с... Вы у нас завтракаете, обедаете, ужинаете... – продолжала мать.

– Да ведь вы так неотступно приглашаете.

– А вы ежели принимаете приглашение, то очень хорошо должны понимать, что я мать, что у меня товар, то есть дочь, а вы покупатель. Посещая нас, вы все-таки бросаете тень на Серафиму, делаете огласку и порождаете сплетни. Если вы посещаете нас без серьезных намерений, то безнаказанно это оставить нельзя, если же вы с серьезными намерениями, то уж пора конец сделать. Вы молодой человек скромный, солидный... Ну-с? Я ставлю вопрос ребром...

Молодой человек весь вспыхнул, крупный пот выступил у него на лбу. Он перестал есть клубнику, отодвинул от себя тарелку и молчал.

– Ну-с? Отвечайте же мне. Со своей стороны я должна сказать, что мне и Серафиме вы нравитесь.

– И вы мне нравитесь, я вас полюбил как родных... – выговорил молодой человек и замялся.

– Так за чем же дело стало? Продолжайте. Договаривайте...

– Я, право, не знаю...

– Да тут и знать ничего не надо, а надо решиться. У Серафимы тысяча рублей про черный день...

– Позвольте. Дайте подумать...

– Нет, уж дольше думать нельзя. Вопрос ребром, и ответ должен быть ребром... Мы вас угощаем, покупаем дорогую провизию, стараемся угодить вашим вкусам, вы принимаете от нас угощение, завлекли ее, набросили на нее тень...

– Я очень люблю и уважаю Серафиму Игнатьевну...

– А любите и уважаете, так и говорить нечего. Она также вас любит и уважает. Серафима! Протяни Виталию Павловичу руку... Что ж ты сидишь истуканом!..

– Все это очень прекрасно, но так вдруг...

– Вдруг-то всегда и бывает крепче. Держите, держите ее за руку, а я сейчас схожу за иконой... Серафима! Не выпускай его руки.

– Я хотел вам сказать...

– После скажете.

Мать выскочила из-за стола, побежала в другую комнату и вернулась с образом.

– Встаньте, встаньте... Поднимитесь из-за стола. Станьте передо мной. Я благословлю вас иконой.

Серафима подтащила его к матери и стала креститься.

– Я хотел вам объяснить... – продолжал молодой человек.

– После объяснимся. Наклоните голову.

– Я должен вам объявить...

– Да благословит вас...

– Не благословляйте, не благословляйте. Я женат! – крикнул молодой человек и отскочил от Серафимы.

Картина.

На уроке

I

Студент Вениамин Михайлович Кротиков, przygotowujący за двадцать рублей в месяц маленького Васю Матерницкого для поступления в первый класс гимназии, пришел в одиннадцать часов утра на дачу к Матерницким и вошел на террасу. На террасе никого не было. Студент Кротиков снял фуражку, достал из кармана щеточку с зеркальцем, пригладил себе волосы на висках, закрутил еле пробивающиеся усики и посмотрелся в зеркальце на щетке. Затем, одернув на себе серую тужурку, он крикнул и постучал ногами, давая о себе знать, что пришел.

Из комнаты выглянула на террасу средних лет женщина в ситцевой блузе с засученными по локоть рукавами, в переднике и с ложкой в руке.

– Ах, это вы, Вениамин Михайлыч! Здравствуйте. Извините, руки не подаю... В варенье они у меня. Я варенье варю. А я думала, что это опять какие-нибудь нищие. Все нищие ходят и прямо на террасу лезут.

– Да, да... Вчера у Скروбиных в саду цыганки платок байковый украли, – проговорил студент. – Анна Михайловна лежала в гамаке, закутавшись в платок, и читала книжку. Затем встала, платок на гамаке оставила...

– Знаю, знаю, слышала. Вот оттого-то я так стремительно и выскочила на террасу. Вы к Васе? Садитесь, пожалуйста. Сейчас я пошлю за ним. Удивительный баловник. Ведь знает, что вы об эту пору прийти должны на урок, и не ждет вас.

– Варвара Петровна здорова ли? – осведомился студент.

– Вообразите, спит. Чем бы подсоблять матери хоть ягоды чистить, она спит. Три раза посылала горничную будить ее – и никакого толку. Афимья! А Афимья! – закричала она горничную.

– Здесь, здесь! Что такое? – откликнулась горничная. – Я ягоды чищу.

– Поди и поищи Васю. Скажи, что учитель урок давать пришел.

– Да он, должно быть, на пруд карасей ловить ушел. Я видела давеча, как он захватил удочку и банку с червями.

– Так сходи за ним.

– Я, барыня, боюсь. Там, говорят, в кустах два цыгана сидят и хватаются. Докторская кухарка сказывала, что вчера с нее чуть-чуть платок не стащили.

– Ну вот... Что за глупости! Ступай...

Показалась кухарка с тарелкой пенек от варенья.

– Вы Василья Петровича ищите? – спросила она.

– Да, Васю.

– Не ищите. Он давеча с дьяконицким сыном на железную дорогу убежал.

– Однако все-таки же надо его привести. Учитель урок давать пришел. Ступай, Афимья.

– На железную дорогу – сколько угодно, а на пруд в цыганское гнездо – ни за что на свете, – отвечала горничная.

– Однако когда же мы от этих цыган освободимся? – проговорила Матерницкая. – Нищие и цыгане... Отбою нет. Если уж так, то я боюсь и за Васю... Они, говорят, и детей воруют, а потом в акробаты продают.

– Очень просто, – откликнулась горничная. – Им кто не даст гривенника за воровжбу...

– Иди, иди за Васей-то! Нечего растабарывать!

– Вы меня ищите? Я здесь, маменька! – крикнул детский голос.

На заборе, отделяющем дачу от дачи, сидел мальчик лет одиннадцати в сером матросском костюме с синим отложным воротником и в шведской фуражке с прямым козырьком.

– Ну, скажите на милость! Он на заборе! – всплеснула руками мать. – Ты зачем это, дрянной мальчишка, по заборам лазаешь!

– Я с дьяконицким Мишей канарейку докторскую ловил. У доктора канарейка из клетки вылетела.

– Ах, надо тебя выдрать! Непременно надо. Слаб у тебя отец-то только. Ты посмотри на свои штаны. В чем они? Батюшки! Да они у тебя и продраны!

– Это я за гвоздь...

– Вот я тебе уже сама задам баню! Садись, мерзкий мальчишка, учиться. А вы, Вениамин Михайлыч, пожалуйста, с ним построже...

Студент поклонился в знак согласия и покрутил усики.

– Здравствуйте, Вениамин Михайлыч, – шаркнул ножкой Вася, войдя на террасу, и тут же прибавил, улынувшись: – Вот вас не было, когда мы канарейку ловили! А докторская Лиза, в юбке и в рубаше без корсета, на балконе стояла.

– Ах-ах-ах! Да как ты смеешь, пошлый мальчишка, такие речи произносить! – воскликнула мать.

– Да что ж тут такого? Вениамин Михайлыч подсматривает же в дырке в купальне, когда докторская Лиза купается.

Студент вспыхнул и заговорил:

– Не мелите вздору! Не мелите вздору!

Мать размахнулась и дала Васе подзатыльника.

– Чего же вы занапрасну деретесь! Я правду говорю! – слезливо воскликнул Вася. – Конечно же, я правду говорю. Тогда и наша Варя купалась, когда он в щелочку смотрел.

– Пустяки... Пустяки... Как вам не стыдно!

Студент зарделся еще больше.

– Принеси твои книги, перо, чернила, тетради и садись учиться! – командовала мать. – И ежели ты впредь будешь пропадать перед тем, как прийти к нам Вениамину Михайлычу, я тебя за обедом без второго и третьего блюда оставлю. Ешь один суп. Слышишь?

Студент приложил руку к груди и конфузливо произнес:

– Уверю вас, Клавдия Максимовна, что это все ложь...

– Верю, верю, Вениамин Михайлыч. Вы варенья не прикажете ли?

– Барыня, а барыня! Вы пенку-то от варенья уж нам пожертвуйте. Везде прислуге полагается, – говорила кухарка, стоя в дверях.

– Пошла прочь! После об этом... Позвольте предложить вам варенья-то, Вениамин Михайлыч?

– Нет, благодарю вас. Я сладкое не особенно люблю.

– У меня есть белая смородина. Она кисленькая. Можно?

– Мерси, не могу.

Студент вынул из кармана записную книжку с отметками и сел к столу на террасе. Матерничка поместилась напротив него.

– Ужасный шалун-мальчишка! – проговорила она про сына. – Страшный баловник.

– Это сын дьякона на него влияет. Дети дьякона бегают по дворам, цыпят камнями зашибают, бросают разную неприличную грязь через загородку в купальню, когда там дамы купаются, и еще недавно булочнику в корзинку с булками навозу наложили, когда тот зазевался, – рассказывал студент.

– Да что вы!

– Уверю вас.

– Тогда я запрещу Васе с ними водиться.

– Пожалуйста. Когда я купался с ними в купальне, они и мне в карманы тужурки камня наклали.

– Ах, какие сорванцы! – покачала головой Матерницкая. – Ну, а как наш Вася у вас идет? Он, кажется, мальчик шустрый?

– Ужасно только невнимательный. И потом, в нем никакой дисциплины. Я, например, показываю ему, как делать задачу, а он вдруг про мух задает вопросы. Бывают ли у мух дети. Согласитесь сами, что это не идет.

– Ужасно, ужасно! Вот я ему скажу. Вы будьте с ним построже.

– Да уж я и так, кажется. Не могу же я его драть за волосы.

– Боже избави! Но вы так, как-нибудь.

– Я стал проходить с ним латинскую грамматику, чтобы потом при поступлении ему легче было. Рассказываю, например, про склонения, а он вынет из кармана фортунку, волчок такой четырехугольный, и предлагает мне сыграть с ним на старые стальные перья. Согласитесь сами...

– Ай-ай... Нехорошо, нехорошо.

Вошел Вася, держа в охапке книги, тетради и грифельную доску.

II

Начался урок. Студент Кротиков сделал строгое лицо и сказал Васе:

– Возьмите грифельную доску и слушайте внимательно, что я буду вам говорить.

Вася достал доску, положил ее перед собой и сказал:

– Варя-то наша все еще дрыхнет. Хотите, Вениамин Михайлыч, я пойду и разбужу ее?

– Слушайте, что я буду вам говорить, – повторил студент.

– Она сейчас вскочит, как узнает, что вы пришли.

– Слушайте. Четыре мужика купили три с половиной ведра вина. Запишите на грифельной доске.

– Мужики вина не пьют, Вениамин Михайлыч. Они пьют водку.

– Не перебивайте меня, когда я говорю! Пишите. Купили три с половиной ведра вина. Привезли его домой...

– Может быть, пива? Можно написать, что пива, а не вина?

– Вина, вина! – крикнул студент. – Ежели вы не будете меня слушаться, я пожалуюсь вашей маменьке, а она оставит вас за обедом без сладкого блюда.

– Сегодня у нас рисовый каравай на сладкое, а я его все равно не люблю.

– Это наказание! Привезли три с половиной ведра пива...

– Ах, стало быть, можно пива? Вы позволяете? – спросил Вася.

– Вина, вина! Я сбился. И начали его делить поровну.

– Я думал, что вы будете рады, если я Варю разбужу.

– Прошу молчать! Что это такое! Просто сладу нет! По сколько вина каждому из мужиков?

Вошла Матерницкая.

– Здравствуйте. Теперь могу руку подать вам. Вымыла, – сказала она студенту и присела к столу. – Ну, как ваш спектакль?

– Актрис нет. То есть молодые-то есть, а старых нет, – отвечал студент. – Ключницу некому играть. Согласился было сыграть гимназист Кукушкин (у него голос пискливый), но над ним стали смеяться, называли бабой – он и отказался. Сегодня Мамзин поехал в город и будет искать настоящую актрису. Ежели не найдет, тогда спектаклю будет крышка. Сделаем только отделение концерта, а потом танцевальный вечер.

– И отлично, – подхватила Матерницкая. – Больше ничего и не надо. Варя сыграет вам на цитре... Тогда и пейзажного платья ей не шить.

– Вот и из-за платьев тоже... Анна Михайловна сначала согласилась сшить бальное платье для своей роли, а потом...

– Право, делайте концерт и просите, чтобы этот судебный следователь Чайкин сыграл вам на корнет-пистоне. Он отлично по вечерам на балконе у себя на даче играет. Знаете Чайкина? Он судебный следователь, кажется?

– Какое! Просто учитель пения в городских училищах, – отвечал студент.

– Да что вы! А он мне так нравился, и я считала его за судебного следователя! – проговорила Матерницкая разочарованным тоном. – Сколько же он жалованья получает?

– Да никакого и жалованья не получает. Просто по полтора рубля за урок.

– Только-то? Фу-у-у... Варенька! Варя! Ах да... Ведь она спит, – спохватилась Матерницкая и сказала сыну: – Вася! Поди и разбуди ее. Разве можно до этих пор валяться в постели!

– Я и то, мамочка, хотел бежать ее будить, но меня Вениамин Михайлыч не отпустил, – пожаловался Вася и побежал будить сестру.

– Сделайте, сделайте концертное отделение, – говорила Матерницкая. – Чайкин, стало быть, как учитель пения, вам споет, а потом на трубе своей сыграет.

– Да Чайкин не поет. У него и голоса нет. Я его знаю, – сказал студент.

– Как не поет? Учитель-то пения?

– В том-то и дело, что только учит пению в школах, а не поет.

– Странно. Потом можете сделать живые картины. Две или три.

– Декораций нет. Мы уж об этом думали. У нас всего только комнатный павильон да лес. Да и лес-то по самой середине, на видном месте, мышами проеден. Вернее всего, что мы сделаем только танцевальный вечер, маленькую иллюминацию и фейерверк.

Вошел Вася.

– Она уж встала. Пудрится. Сейчас выйдет, – доложил он про сестру. – Ее Афимья разбудила. Афимья говорит: «Не хотела вставать, а как сказала я, что Вениамин Михайлыч здесь, сейчас и вскочила».

Он улыбнулся, поглядел на студента и подмигнул ему. Матерницкая продолжала:

– Что ж, и фейерверк хорошо. Только не давайте маленьким ребятам пускать. А то в прошлом году аптекареву сынишке все руки опалило.

– Мама, что это за фейерверк? Какой фейерверк? – быстро спросил Вася у матери.

– А вот на танцевальном вечере, который у них будет.

– С фейерверком? А я пускать буду? Мне пускать дадут?

– Тебе-то и не дадут. Пожалуйста, Вениамин Михайлыч, ему не давайте.

– Нет, мама, я хочу! Непременно хочу! Если мне не дадут, я на свои деньги фейерверку себе куплю.

– Сколько же вы собрали денег с дачников на этот праздник, Вениамин Михайлыч? – спросила студента Матерницкая.

– Вот, и насчет денег... – отвечал тот. – У нас всего шестьдесят восемь рублей собрано. Никто не дает. «Я, – говорит, – потом»... А Яшковы вон всего рубль подписали. Рубль подписали, да Пелагея Васильевна не позволяет своей дочери горничную играть. Я приношу дочери роль, а Пелагея Васильевна мне такие слова: «Она, – говорит, – штаб-офицерская дочь, и ей горничную играть неловко». Какое невежество! – Студент пожал плечами.

Матерницкая сказала:

– Дура! Кухарка... Так чего же вы хотите от нее? Вы знаете, что она была кухаркой?

– Да, похоже на то, – отвечал студент.

– Кухарка, кухарка... Я вам расскажу всю историю, как она в штаб-офицерши-то попала. Жил капитан Яликов, а у него была кухарка. Он был вдовец – ну, она баба ловкая и подласти-

лась к нему. Пошли детки. Родилась вот эта самая Наденька, потом сын. Чтобы прикрыть грех, капитан Яликов и женился на ней, а потом вышел в отставку с чином штаб-офицера. Вышел в отставку и умер. И вот Наденька – штаб-офицерская дочь, а Пелагея Васильевна – вдова штаб-офицерша. Да и никогда она не была Пелагеей Васильевной, а просто всегда была Пелагея. Пелагея и больше ничего. Вы знаете, я сомневаюсь даже, грамотная ли она. То есть, может быть, читать по-печатному умеет, а уж писать ни за что! Дура, совсем дура! Ну, я вам мешать не буду, – спохватилась Матерницкая, вставая. – Занимайтесь. Да, пожалуйста, поосторожнее с Васей, Вениамин Михайлович.

– Садитесь и берите доску, – скомандовал студент Васе.

– Готово, – отвечал тот. – Но могу я прежде вот эту грушу съесть?

Вася вытащил из кармана штанишек грушу.

– Никакой груши! Заниматься нужно! – возвысил голос студент и отнял у Васи грушу, отложив ее в сторону.

– Маменька, что же это такое! – заныл Вася.

– Не давайте, не давайте ему. Дайте мне, – проговорила Матерницкая и взяла грушу. – Однако, что же это Варя-то?.. Вот удивительная девушка! Пойду сама к ней.

– Да брови себе наводит. Разве вы не знаете ее? – сказал Вася. – Узнала, что Вениамин Михайлович пришел, ну вот...

– Что ты врешь, дрянной мальчишка! – крикнула Матерницкая. – Когда же это она брови себе наводила!

– Ну вот, будто я не видел!

– Молчи, дрянь! Как ты смеешь конфузить сестру при постороннем человеке!

– Что вы написали на доске? Прочтите... – заговорил студент, обращаясь к Васе.

– Да ничего. Я уж стер все.

– Это чистое наказание! Тогда пишите вновь. И студент задиктовал: – Четыре мужика купили три с половиной ведра вина...

III

Задача о четырех мужиках, разделивших поровну три с половиной ведра вина, была кое-как сделана. Студент закурил папиросу и сказал Васе:

– Ну, теперь изложение. Я вам прочту одну маленькую историйку, а вы расскажете ее своими словами и потом напишете в тетради. Слушайте.

Студент развернул книгу.

– Опять про мальчика, влезшего на яблоню? – спросил Вася.

– Слушайте, слушайте!

Вася улыбнулся и таинственно прошептал:

– Вениамин Михайлыч, что я вам скажу...

– После, после... Слушайте: «Два мальчика были застигнуты в горах метелью».

– Очень для вас интересное, Вениамин Михайлыч.

– Ну, что такое? Говорите.

– Наша Варя в вас влюблена.

Студент вспыхнул и заговорил:

– Глупости, глупости... Итак... «Два мальчика были застигнуты...»

– Афимья, наша горничная, даже гадала ей про вас на картах... – продолжал Вася.

– Бросьте, пожалуйста! Слушайте: «Два мальчика...»

– А вы какой король – бубновый или червонный?

– Если вы не перестанете, то я пожалуюсь на вас вашей маменьке.

– Да что маменька! Маменька-то вон хочет позвать обедать следователя Чайкина, чтобы он к Варе посватался. Приятно вам это?

– Ох, Вася, какой вы мальчик! Это ужас что такое!

На террасу вышла Варя Матерницкая, хорошенькая семнадцатилетняя девушка с припухлыми от сна глазками и действительно слегка подведенными бровками. Она улыбнулась, протянула студенту руку и сказала:

– Отчего вы вчера не были на танцевальном вечере? А сами еще просите, чтобы я приберегла вам третью кадрили!

Студент несколько смешался.

– Пардон, Варвара Петровна, – проговорил он. – Но мы вчера работали, мы вчера фонари клеили для нашего вечера.

– Кто это мы-то? – спросила она.

– Распорядители праздника. Я, Глишков, Ушаков.

– Какой вздор! Ушаков танцевал со мной вальс.

– Ну, это, должно быть, уж он после работы на танцевальном вечере очутился. И я хотел идти, но рубль платить за вход в одиннадцать часов...

– Стало быть, вам рубль дороже, чем со мной танцевать? Прекрасно!

Варя сделала глазки и надула губки.

– И хорошо еще, что судебный следователь Чайкин ко мне подошел, а то я так бы и просидела третью кадрили, не танцевавши, – продолжала она. – И какой милый и прекрасный человек!

– Да он, Варвара Петровна, вовсе не судебный следователь. Он учитель пения. Ваша маменька тоже его за судебного следователя считала, но я уж объяснил ей, – сказал студент.

– Все равно прекрасный человек! И как танцует!

– А мне так жаловались на него. Он, говорят, руку дамы ужасно тянет вниз.

– Пустяки. Это-то и хорошо. Ну, что же наш спектакль? – спросила она.

Студент развел руками.

– Расстройство, полное расстройство, – проговорил он.

– Ах, вы! Всех взбаламутили, а теперь на попятный... Расстройство... А вот ежели бы Чайкин взялся устроить спектакль, то, наверное, не было бы расстройства. Ну, я пойду кофе пить.

Она круто повернулась к двери.

– Варя, Варя! Постой! – остановил ее Вася.

– Ну, что такое? Наверное, какие-нибудь глупости!

– Ты знаешь, кто такая Пелагея Васильевна?

– Какая такая Пелагея Васильевна?

– Да Яликова. Мать Нади Яликовой, которая вот с этими кудлашками на лбу ходит.

– Ну, ну... Ну, что же дальше?

– Наша маменька говорит, что ейная мать была кухарка, простая кухарка.

– Вася! Вася! И не стыдно вам сплетничать! Ай-ай! – покачал головой студент.

– Да ведь это не я, это маменька. Она вам же рассказывала. Я слышал.

– Довольно, довольно. Как это стыдно про людей злословить!

– Да ведь маменька, а не я.

Студент взглянул на часы и сказал:

– Ну, давайте скорее заниматься. Ведь мне некогда. Надо на другой урок идти. Слушайте!

«Два мальчика были застигнуты в горах метелью...»

– Да уж это я слышал. Говорите дальше! – сказал Вася.

Студент вспылал.

– Как вы смеете меня понукать! Сами же вы меня поминутно перебиваете, не даете рассказать, а теперь понукаете! – воскликнул он. – Перепишите мне за это шесть раз латинское склонение, которое я вам задам. Это будет вам в наказание.

– За что же это, Вениамин Михайлыч? – слезливо заговорил Вася. – Я к вам всей душой, а вы меня не любите.

– И чтобы к завтраму было переписано!

– Ну, уж этого я не могу, никак не могу. Сегодня вечером у Звонаревых будет иллюминация.

– Как там хотите, а чтоб было сделано!

– Простите, Вениамин Михайлыч!

– Ага! Теперь простите! Зачем же вы меня перебиваете? Ну... «Два мальчика...»

– Одно слово, Вениамин Михайлыч.

– Ну?!

– Вы не верьте Варе. Это она так перед вами козырит-ся, а она влюблена в вас... – проговорил Вася.

Студент схватился за голову.

– Боже мой! Да будет ли этому конец! Не хочу я этого от вас слышать! – воскликнул он и только что прочитал Васе историйку про двух мальчиков, как вдруг вошла Варя.

Варя держала в руке чашку с кофе, макала в него сухарь, ела и, прожевывая, спрашивала студента:

– Маменька говорит, что вместо спектакля у вас будет танцевальный вечер с концертом и живыми картинами, так в какой же картине вы мне дадите позировать?

– Мы еще, Варвара Петровна, картин не выбирали, – отвечал студент.

– Ах, и картин еще не выбирали? Ну, тогда, наверное, ничего не будет.

– Отчего вы так думаете?

– Оттого, что нельзя через час по столовой ложке что-нибудь делать. А уж затеяли что-нибудь, то надо – раз, два, три – и готова карета. Картины еще не выбрали!

– Да разве мы смеем без вас выбирать! И, наконец, насчет постановки картин мы и вообще еще не решили.

– Ах, и это еще не решили? Ну, тогда честь имею вас поздравить. Это значит: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Ах вы, распорядители!

Она насмешливо улыбнулась. Студент взглянул на часы.

– Я должен кончить. Мне пора на другой урок, – сказал он Васе и поднялся. – Прощайте, Варвара Петровна, – поклонился он Вареньке.

– Прощайте, кислый молодой человек, – проговорила Варенька, протягивая руку.

– То есть чем же это кислый-то? Все, все будет сделано по вашему желанию. Вы царица души моей, – шепнул студент и стал сходить с террасы.

IV

На следующее утро студент Кротиков опять пришел на урок к Васе Матерницкому. Матерницкая сидела на террасе и чистила ягоды. Студент поклонился и сказал:

– Уже в трудах? Так рано, и за работой?

– Да что ж вы поделаете? Вчера черную смородину варила, а сегодня малину, – отвечала Матерницкая. – Здравствуйте, – протянула она ему руку. – Извините только, что рука в ягодах. И ведь все я одна хлопочу, Вениамин Михайлыч, одна. Нет у меня помощницы.

– А Варвара Петровна? – сказал студент.

Матерницкая махнула рукой.

– Какая она помощница! Она только есть умеет. Ее и чистить-то нельзя подпустить: она больше съест, чем начистит. Садитесь, пожалуйста.

– А Варвара Петровна еще поживает? – спросил студент, присаживаясь к столу.

– Нет, встала уже, но только в безбелье, как говорится. Не одета. Напилась кофе и пошла письмо писать подруге. А вы к Васе? Вообразите, что натворил этот мальчишка! Наловил он с дьяконским сыном рыбы, а кто-то сказал ему, что рыбу можно коптить в трубе. Он полез с рыбой на крышу и провалился в трубу. Весь, весь в саже вымарался: сам, лицо, руки. А только что сегодня утром надели на него чистенький коломенковый костюмчик.

– В трубу?

Студент пожимал плечами.

– Да, в трубу, – кивнула ему Матерницкая. – Сейчас Афимья повела его мыть и переодевать. Ведь какая изобретательность в шалостях.

– Ужас что такое! – покачал головой студент. – Должен и я вам пожаловаться на него, Клавдия Максимовна.

– Что такое? Что такое? – быстро спросила Матерницкая.

– Вообразите, он мне любовные письма пишет.

– Как так?

– Да-с. Пишет любовные письма, подписывается Варей, назначает свидания в саду и пересылает письма с деревенскими мальчишками.

– Варей? Как Варей? – удивленно проговорила Матерницкая.

– Да так, Варей.

– Да он ли? Может быть, кто-нибудь другой?

– Помилуйте... Да ведь я его руку отлично знаю. Вчера вечером было письмо, и сегодня утром было письмо. Сегодня утром я поймал мальчишку, который передавал письмо нашей кухарке, оттащил его за уши и принудил сказать, кто передал ему это письмо. Он заревел и сознался, что Вася Матерницкий. Вот и письмо. Посмотрите.

Кротикиков передал письмо.

– Да, да... это его рука... – сказала Матерницкая. – Нет, этого так оставить нельзя. Ему будет баня. Сама я драться не умею, а вот завтра придет отец, и он ему задаст. А ежели уж он останется равнодушен, тогда я вырежу хорошую орясину в саду и попрошу вас...

– Нет, нет, Клавдия Максимовна, увольте меня! Я тоже не умею этим заниматься, – проговорил студент.

– Да ведь надо же его проучить. Он девушку конфузит, сестру свою конфузит. Ведь она Варя-то.

– Ну какой же тут конфуз! Во-первых, про Варвару Петровну никто не может и подумать. Письмо слишком уж неграмотно. А во-вторых...

– Да ведь бумажка-то розовенькая ее, на которой письмо написано, и конвертик ее, – перебила студента Матерницкая. – Ведь он это у ней украл из ящика. Надо будет Варю сказать. Варя! Варенька! – крикнула она, но тут же спохватилась и сказала: – Ах да... Я и забыла, что она еще не одета. Ну, я ей потом...

Студент подумал и проговорил:

– Сечь я вам его не советую.

– Да разве сечь? Никогда я его сечь не допущу. А просто отхлестать хорошенько орясиной по плечам и по спине.

– И так бить вообще не советую. А сделайте вы ему строгое внушение, оставьте сегодня за обедом без двух блюд. Пусть суп только ест. Поверьте, не умрет с одного супа.

– Да ведь уж без двух-то блюд он сегодня за трубу наказан, так как же тут быть?..

– Ну, за трубу сегодня, а за любовные письма завтра.

– Да хорошо, хорошо. А только это наказание бесполезно. Как только мы из-за стола выйдем, сейчас он побежит в кухню и там наестся. Вы мне, пожалуйста, это письмо дайте. Я Варю покажу, а потом отцу.

– Сделайте одолжение... Возьмите.

– Ах, негодный, негодный мальчишка! – досадливо покачивала головой Матерницкая и спрятала в карман письмо. – И ведь какие у маленького мальчика фантазии! На свидание звать! А это все Варя! Романы она читает, Афимье содержание их рассказывает, когда та с ней. Он слушает, он мальчик шустрый – и вот...

– Скоро он?.. Я про Васю... Мне, Клавдия Максимовна, нужно быть сегодня в час дня на другом уроке.

– Сейчас, я думаю, Афимья его переоденет. Афимья! Скоро вы там?.. – крикнула Матерницкая. – Вася! Торопись, Вениамин Михайлыч пришел.

Показалась горничная Афимья в светлом ситцевом платье и с цветком красной гвоздики в волосах. Увидав студента, она несколько вспыхнула и смешалась, но покосилась на барыню и сказала:

– Вы про кого? Вы Васю?.. Да он уж умылся, переоделся и к вам пошел.

– Да что ты врешь, мать моя. Мы сидим и ждем его, – отвечала Матерницкая.

– Ну, значит, куда-нибудь в другое место побежал.

– Так поди и поищи его.

– Это все равно что ветра в поле искать. Уж ежели его здесь нет, то, стало быть, он где-нибудь за тридевять земель скачет.

– Вася! Васенька! Ты тут? – кричала Матерницкая, перевесившись с террасы в сад, но ответа не было. – Уж извините, Вениамин Михайлыч, мне, право, так совестно, что он вас так долго заставляет себя ждать, – обратилась она к студенту. – Афимья! Надо же, наконец, его разыскать!

– Да вон дворник Ферапонт идет. Ферапонт не видал ли его где, – указала горничная. – Ферапонт! Вы не видали нашего барина?

– А он с дьяконским сыном у докторской конюшни в навозной куче червей копает, – отвечал дворник.

– Позови его, пожалуйста, Ферапонт, домой. Скажи ему, чтобы сейчас шел сюда, потому учитель его дожидает. Да скажи, что я строго ему приказала сейчас же идти сюда, – проговорила Матерницкая. – Ну, ты, Афимья, продолжай тут на террасе чистить ягоды, а я понесу вот этот таз варить, – сказала она горничной и спросила студента: – Не мешает она вам, что будет здесь ягоды чистить, Вениамин Михайлыч?

– Отчего же... Пусть чистит... Ничего, – отвечал студент.

Матерницкая подняла со стола медный тазик с наложенными в него ягодами и понесла в кухню.

V

Студент Кротиков и горничная Афимья остались на террасе одни. Студент покурил папиросу, Афимья чистила ягоды и с полуулыбкой косилась на студента. Она была горничная из кокетливых, носила белый передник, обшитый кружевцами, и челку на лбу, помадилась господской помадой и питала слабость к цветным бантам на груди и к колечкам с цветными стеклушками. Колечками этими были унижены ее мизинцы. Сегодня она, кроме того, была с красной гвоздикой в волосах. Она была довольно миловидна и имела такую курносенькую физиономию, которая приличествует именно молодым горничным.

Сначала они сидели и молчали. Наконец студент взглянул на часы и проговорил с неудовольствием:

– Это ужас сколько приходится всякий раз ждать этого Васю!
Горничная посмотрела на него, улыбнулась и сказала:
– И ништо вам. Себя заставляете ждать понапрасну, так вот теперь и сами ждите.
– Когда же я-то?.. Я, кажется, всегда вовремя являюсь.
– А вчера-то? – подмигнула ему Афимья. – Нет, вы даже обманщики.
– Ошибаетесь, моя милая. Вчера я также явился вовремя и также ждал его более полу-
часа.
– Да я не про Васю, я не про Васю говорю. Я про вечер.
– Про какой вечер? – спросил студент.
– Ну вот, будто не знаете! – опять подмигнула Афимья. – А по-нашему это называется, что вы интриган. Сами приглашаете, а потом не приходите.
– Ах, это вы про вечер в клубе-то! Так я вовсе не обещался Варваре Петровне быть на этом вечере.
– Да не про вечер в клубе дело идет и вовсе не про Варвару Петровну. Что вы из себя дурака-то строите! Будто и не понимаете.
– Решительно не понимаю!
Студент сделал строгое лицо.
– Нечего глаза-то удивленные делать, нечего! – опять заговорила Афимья. – А ежели это насмешка с вашей стороны, то очень это даже глупо и неучтиво – прямо скажу.
– Да объясните, пожалуйста, Афимья, хорошенько – что такое?
Студент встал.
– Пожалуйста, пожалуйста, не притворяйтесь! Знаем! – кивнула ему Афимья с тоном обиды в голосе. – Рассердимся, так ведь и мы умеем мстить.
– Да в чем-с, позвольте вас спросить? И не понимаю я, что я сделал.
– А вот показать вашу записку нашей барышне, так и запляшете. Ну, что?
Афимья бросила очищенные ягоды в тарелку и, подбоченившись одной рукой, опять вызывающе взглянула на студента.
Тот уж совсем сбился с толку, покраснел и спросил:
– Какую записку?
– Да которую вы мне-то прислали, – отвечала Афимья.
– Когда?
– А после вчерашнего урока, с деревенским мальчишкой.
– Я прислал вам записку?
– Да, мне. Про кого же речь-то? Называете душечкой, ангельчиком и зовете в девять часов вечера в парк, к пруду на скамейку.
– Господи! – всплеснул руками студент.
– Да нечего молиться-то! Я сжалилась над вами и, хоть боюсь к этому проклятому пруду ходить, а пришла. Ждала, ждала вас, да так и не дождалась. А теперь скажу: глупо, низко и подло с вашей стороны, господин интриган!
– Уверяю вас, Афимьюшка, что я никакой записки не писал. И не думал, и не воображал писать, – говорил студент, прижимая руку к груди. – Позвольте! – воскликнул он. – Это опять какие-нибудь штуки вашего Васи.
– Да вот посмотрите. Записка налицо. Не следовало бы только вам отдавать-то ее.
Горничная протянула ему записку. Он схватил ее и воскликнул:
– Ну, так и есть! Опять Вася! Опять его рука! Опять его штуки! «Милая Афимьюшка! Душечка, голубушка! Я тебя люблю и обожаю. Приходи в парк на свидание в девять часов сегодня вечером. Я тебя буду ждать у пруда на скамейке. Целую тебя в губки. В. Кротиков», – прочел студент. – Он, он... Вы мне позвольте, Афимья, это письмо. Его надо показать Клавдии Максимовне.

– Как? Зачем же показывать? – проговорила горничная. – Нет, отдайте мне его.

– Нельзя-с. Надо, чтобы Клавдия Максимовна примерно наказала Васю за эти штуки.

– Так это и в самом деле не вы писали?

– Уверяю вас, что нет. Он и мне два таких письма написал и тоже зовет меня в парк на свиданье. Письма ко мне подписаны: Варя.

– Нашей Варварой Петровной?

– Да нет же, нет. Неизвестно какой Варей, Варь много на свете. Но письма-то написаны Васей. Я тотчас же узнал его бумагомарание и, разумеется, на свиданье не пошел, а сегодня одно из этих писем передал Клавдии Максимовне.

– Да ведь мне письма-то принес не Вася, а какой-то деревенский мальчишка.

– И мне деревенский мальчишка, но я тотчас же схватил его за волосы и стал допытываться, от кого. Ну, он и сознался, что ему Матерницкий барчук велел письмо передать.

Афимья сидела разочарованная. Ей, очевидно, было жалко, что письмо оказалось ненастоящим. Она все-таки еще раз спросила Кротикова:

– Ну, а вы не просили его писать?

– Да что вы, Афимья, помилуйте! С какой же это стати я?.. И наконец, ежели бы я вздумал кому-нибудь писать, так ведь я сам грамотный.

– Ну, знаете, ведь иногда тоже не хотят, чтобы своя рука была...

– Да полно вам!..

Произошла пауза. Афимья как-то исподлобья взглянула на студента, улыбнулась лукаво и сказала:

– А я все-таки пришла в парк и ждала вас.

Студент не знал, что отвечать, и выговорил:

– За это спасибо вам, но я и ума никогда не держал приглашать вас на свидание.

В комнатах послышался голос Матерницкой. Она шла на террасу и говорила:

– Привели его. Дворник привел. Опять весь в грязи. Сейчас он придет к вам, – сказала она, появляясь в дверях. – Он плачет и боится вас. Сами вы его турните, как следует, и поругайте хорошенько, а я уж потом с ним разделаюсь. Только вы, Вениамин Михайлыч, уж не очень...

Сзади показалось заплаканное лицо Васи.

VI

Вася стоял перед студентом и уж ревел в голос. Мать опять показалась на террасе.

– Не смей плакать, безобразник! Садись и учись! – крикнула на Васю она, размахнулась, чтобы дать ему подзатыльник, но тотчас же остановила руку, когда довела ее до головы его, и только толкнула Васю в затылок. – Ведь эдакий мерзкий мальчишка! А все оттого, что с сорванцами, дьяконскими мальчишками, водится.

– Ох, барыня! – проговорила горничная Афимья. – Дьяконские сорванцы хороши, но Вася и их чему угодно научит.

– Молчи! Не твое дело! Ты знай ягоды чисти! – огрызнулась на нее Матерницкая.

Вася сел к столу, но продолжал плакать, всхлипывая.

– Что ж ты, невежа, с учителем-то своим не здороваешься! Эдакое дерево! – продолжала мать.

Вася вскочил, шаркнул ножкой и проговорил:

– Здравствуйте, Вениамин Михайлыч.

– Садитесь. Не желаю я от вас сегодня никаких любезностей, – сердито сказал студент.

– Вот так, вот так... хорошенько его. А я пойду варенье варить, – пробормотала Матерницкая и удалилась с террасы.

Вася раскрывал тетрадь в синей обложке, разрисованной им чертиками. Студент начал выговор:

– Скажите, пожалуйста, Вася, какое вы имели право писать от моего имени письмо вашей Афимье?

– Это не я. Это дьяконский Сережка, – послышался сквозь всхлипывания ответ.

– Вздор! В письме ваша рука, ваша неграмотность и ваши кляксы, так как же вы смее отпираться? Сознайтесь, а то хуже будет. Вы писали?

– Я, – еле выговорил Вася. – Но только Сережка меня научил. Он и диктовал мне.

– Для чего же вы его слушались?

– Как же мне его не слушаться! Он побьет меня. Он сильный... Он гимназист... Я написал и не хотел посылать, а он вырвал у меня письмо и отдал его мальчишке Панкратке, чтобы тот снес нашей Афимье.

– Да, да... Панкратка, сотского сын, мне и принес письмо, – подтвердила горничная Афимья.

– Ну, а мне, мне какое вы имели право писать от имени какой-то Вари?

– Простите, Вениамин Михайлыч. Никогда больше не буду... – выговорил сквозь слезы Вася.

– Это тоже дьяконский сын Сережка? – насмешливо спрашивал студент.

– Сережка... Он говорит: «Пиши, пиши... Напишем, а я пошлю».

– Должно быть, тоже дьяконский Сережка и в комнату к вашей сестре забрался и утащил у нее розовые бумажки и конверты? Ведь письма, как оказалось, написаны на бумаге вашей сестры Варвары Петровны. Тоже Сережка?

Вася помолчал и отвечал:

– Он говорит: «Давай бумаги и конвертов», а у меня бумаги и конвертов не было, вот я...

– Слушайте... – строго начал студент. – Вы совершили кражу и подлог...

– Простите, Вениамин Михайлыч...

– Вы совершили кражу и подлог. Подписываться чужими именами называется подлогом.

А знаете ли вы, как закон наказует за такие деяния, как кража и подлог?

– Виноват... Никогда больше не буду...

– Как юрист я знаю и сейчас вам скажу. Статьи закона, предусматривающие эти преступления, наказуют...

– Ей-богу, больше никогда не буду. Простите...

Студенту понравился судебный язык, он начал входить в роль, продолжая:

– Преступные деяния эти суд наказует лишением всех прав состояния и ссылкой в места не столь отдаленные. Поняли?

– Извините... Простите... Никогда... Это, ей-ей, Сережка...

– Вы лицо привилегированное, ваш отец статский советник. Привилегированные же лица даже за одну кражу, совершенную хоть бы на копейки, караются...

Вася слушал и опять заревел навзрыд...

– Однако уж вы его и доканали же... Точь-в-точь полицейский... – перебила студента горничная.

– Пойдите, Афимья. Не перебивайте. Не суйтесь не в свое дело. Ну, не ревите! Довольно! Слушайте. Так наказало бы вас уложение о наказаниях, если бы дело дошло до суда и следствия. А домашним образом вы будете наказаны вашей маменькой два дня подряд лишением второго и третьего блюда за обедом. Кроме того, она еще сама с вами распорядится по своему усмотрению. Поняли? Я кончил. Теперь давайте заниматься.

Вася сморкался.

– Писать? – спросил он, придвигая к себе одной рукой тетрадь.

– Склоняйте мне прежде два слова: преступный мальчик, – отдал приказ студент.

– Именительный – преступный мальчик, родительный – преступного мальчика, дательный – преступному... Вениамин Михайлыч, скажите Афимье, чтоб она надо мной не смеялась.

– Оставьте его, Афимья, в покое. Что вам?.. Это не ваше дело... – обратился студент к горничной, чистившей ягоды.

– Ну вот... Что ж мне, плакать вместе с ним, что ли? Блудлив как кошка, труслив как заяц... – пробормотала горничная.

Вася поковырял в носу и продолжал:

– Именительный – преступный мальчик, родительный...

– Дальше, дальше! Это уж мы слышали. Дательный...

– Дательный – преступному мальчику, винительный – преступного мальчика, творительный... Вениамин Михайлыч, она мне язык показывает!

– Афимья! Я же просил вас... Ведь так нельзя... Это урок... Ну, продолжайте, Вася. Творительный...

– Творительный – преступным мальчиком, предложный – о преступном мальчике. Множественное число. Именительный – преступные мальчики. Это значит, я и Сережка.

– Склоняйте, склоняйте. Или нет, стойте. Преступный... Какая это часть речи? – задал вопрос студент.

Вошла Матерницкая.

– Ну, как же вы решили с дачным праздником? – перебила она, подсаживаясь к столу.

– Сарай в наших руках, – отвечал студент. – Он выметен, будет украшен внутри флагами и зеленью, елками, но спектакля устроить нельзя. Вчера студент Ушаков ездил искать настоящую комическую старуху для роли ключницы, нашел настоящую актрису, но она дешевле пятнадцати рублей играть не соглашается, а у нас и всех денег-то собрано только семьдесят один рубль. То есть не собрано, а подписано. Тут на все: на музыкантов, на угощение, на иллюминацию, на фейерверк. Согласитесь сами, откуда же взять для нее пятнадцать рублей? Но концерт и живые картины перед танцами мы все-таки поставим. Лесная декорация по самой середине проедена крысами. Довольно большая дыра... В пол-аршина так, а то и больше. Но мы решили так: мы к этой-то дыре и поставим группу позирующих. Они и загорядят собой дыру. Поняли?

– Ну, конечно же... Варе-то уж очень хочется постоять в живой картине, – сказала Матерницкая.

– И я, главным образом, из-за Варвары Петровны хлопочу. Но вот беда: у нас денег нет. Подписались, а не дают, не уплачивают.

– Мы уплатили.

– Вы-то, я знаю, что уплатили, а вот другие... Клавдия Максимовна, что я вас хотел попросить... – сказал студент.

– Говорите, говорите. Что такое?

– Отойдите в сторону. Я не могу при Васе. Каждое слово разглашает...

– Да, он ужасный мальчик. Ничего при нем сказать нельзя.

Матерницкая и студент встали и отошли в угол террасы.

– Дайте мне, пожалуйста, пять рублей вперед за мои занятия с Васей. Я взял уже у вас, но прошу еще... – проговорил студент.

– Денег? Не могу, не могу, – отвечала Матерницкая. – Сама сижу на бобах... Что муж дал на расходы – все на варенье ухлопала.

– Я, собственно, прошу у вас, чтоб внести мой пай на устройство нашего праздника. Надо купить серы, селитры, порошу, бертолетовой соли для фейерверка и бенгальского огня. Должны же мы начать делать все это.

– Сама с тремя рублями сижу. Купила пуд сахарного песку и осталась с тремя рублями. И зачем это я столько варенья варю – решительно не понимаю! – покачала Матерницкая головой. – Так вот... Страсть какая-то.

Студент вздохнул.

– Тогда с нашим праздником опять будет задержка, – проговорил он и снова подошел к Васе и уселся перед ним за столом.

VII

– Ну-с, начинаем опять... – обратился студент Кротиков к Васе и полез в карман за папироской. – «Легковерная девушка, получив письмо, пришла на свидание». Разберите мне это. Сначала так: где здесь подлежащее, где здесь сказуемое...

– Вы это, Вениамин Михайлыч, про меня, что ли? – перебила его Афимья. – Надули, да еще продолжаете издевку делать?.. Очень, очень вами благодарна!

Студент слегка улыбнулся.

– Отчего же вы непременно думаете, что это вы, Афимья? – спросил он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.